

С.Н.Сергеев-Ценский

Севастопольская страда

часть I

Глава первая. Бал

Глава вторая. Враги пришли

Глава третья. Потревоженный муравейник

Глава четвертая. Бой на Алме

Глава пятая. Отступление

Глава шестая. Смертный приговор флоту

Глава седьмая. Фланговый марш

Глава первая. Бал

I

Необыкновенной мощности, багроволицая, несмотря на щедрый слой пудры, с дюжим носом и круглыми ястребиными глазами, адмиральша Берх, энергично действуя веером в направлении складчатой шеи и низко декольтированных широких жирных плеч, басом говорила полковнику Сколкову:

— Но послушайте, как адъютант светлейшего, должны же вы были от него слышать его мысли вслух!.. А то мы ведь так и не знаем, можно ли нам, слабым существам, оставаться здесь, в Севастополе, или убираться отсюда, пока в нас не начали стрелять!.. Вон адмирал Корнилов свою Лизавету Васильевну еще в июле в Николаев отправил со всеми чадами... Правда, она ходила беременная пятым ребенком, ей всякая там эта стрельба с кораблей английских вредна, конечно... Ну, а для нас чем она может быть полезна?

В сияюще белом кителе, как, впрочем, и все другие офицеры в этом зале, молодой, ловкий и самоуверенный, хорошего роста и еще лучшего на вид здоровья, полковник Сколков, почтительно наклоняясь к адмиральше, но глядя больше на ее племянницу м-ль Катрин, отвечал, улыбаясь:

— Предосторожность, конечно, никогда не мешает, но князь даже и сегодня еще нам говорил, что он десанта союзников не ждет.

— Вот тебе раз: не ждет! Князь может его не ждать, разумеется, на то

его воля, — однако известно ведь всем, что десант уже три дня стоит у Змеинового острова, — возмущенно пробасила адмиральша, оглянувшись при этом влево и вправо.

— Что же, что он стоит у Змеинового острова! — снова улыбнулся Сколков. — Постоит, может быть, и еще неделю, потом вернется опять в Болгарию.

— Что-о? Как вернется? — выкатила глаза адмиральша. — Зачем же он выходил в море, если вернется? Это, может быть, ваше личное мнение, а не князя?

— Да-а, между прочим князь высказывал и такое предположение, — невозмутимо продолжал Сколков. — Есть известие, что армию просто вывезли из Варны, как из места, зараженного холерой.

— И от холеры их набили битком на суда и вывезли в море? Чтобы удобнее было покойников в море швырять?.. Ну, признаюсь, батюшка, такой глупости мы с вами едва ли дождемся от англичан и французов!

— От холеры они ведь вообще не знают, как избавиться, а между тем армия тает и тает без всяких сражений. Маршал Сент-Арно послал против наших войск генерала Канробера в Добруджу, а через месяц в ту же Варну вернулось из тридцати тысяч войск французских только двадцать: десять тысяч легли там, в болотах... Погибли совершенно бесполезно и для Франции и даже для теории войн, потому что не удалось им даже и увидеть ни одного нашего казака. Вообще надо сказать, что союзникам не везет. Вы говорите: зачем было сажать армию на суда? Но ведь Варна почти вся сгорела от ужасного пожара, о каком недавно писали в газетах!

— А-а, это, что подожгли греки?

— Греки или не греки, только Варна сгорела. Осталось только одно имя, а Варны уж никакой нет. И если бы пороховые погреба не отстояли войска, то и некого было бы сажать на суда после взрыва, потому что...

— Это все вы лично так говорите или князь так говорит? — бесцеремонно перебила адмиральша, настолько уже тяжело дыша и выпучив глаза, что Катрин, хорошенькая блондинка, нашла нужным вмешаться:

— Тетю занимает один только вопрос: пора уж нам уезжать из

Севастополя или мы можем пока оставаться здесь?

— Ну, конечно же, я ведь сама именно так и сказала, — подтвердила адмиральша, — а все эти рассуждения меня занимают гораздо меньше!.. Это дело князя, это дело Станюковича, Корнилова, Нахимова, моего мужа и прочего начальства... Что князь говорит, это я и без вас знаю от мужа, мне только хотелось бы знать, что он думает!

На это адъютант Меншикова, командующего всеми сухопутными и морскими силами Крыма, улыбнувшись Катрин и несколько понизив голос, проговорил:

— Князь старается думать так и то, что думают по этому вопросу т а м, в Петербурге.

И при слове "там" наклоном хорошо сработанной головы с безукоризненным английским пробором в темных волосах очень точно указал на север, так как далеко не в первый раз был в этом бальном зале, теперь совершенно переполненном разряженными дамами и офицерами гарнизона и флота.

Было по старому стилю 30 августа 1854 года. В этот день, как всегда, праздновали память "святого благоверного князя Александра Невского". Со времен императора Павла этот день считался днем "царским", так как в этот день непременно бывал именинником или наследник престола, или сам царь. Теперь именинником был наследник, шеф Бородинского полка, а по давним полковым традициям этот праздник знаменовался балом.

Бородинский полк, отправившись пешим порядком из Нижегородской губернии еще осенью 1853 года, прибыл в Севастополь в мае 54-го, и ему не было отведено казарм.

Солдаты помещались в лагере на Бельбеке, верстах в шести от города. Они явились на обедню, молебен и парад к Михайловскому собору, прошли церемониальным маршем перед светлейшим и его свитой, получили от него поздравление с праздником, ответили: "Покорнейше благодарим, ваша светлость!" — и ушли в свой лагерь снова.

Офицерство же деятельно готовилось к балу в приспособленном для балов, вечеров и приемов высочайших особ роскошно отделанном доме Дворянского собрания, стоявшем около Графской пристани.

Танцевальный зал в этом собрании был обширный, в два этажа, облицованный белым мрамором, с пилястрами и колоннами из розовых мраморных плит. Свет в этом зале был верхний, двери из красного дерева, отделанные бронзой.

В бильярдной комнате и нескольких кабинетах, окружавших зал, были дорогие обои — розовые, голубые, зеленые, с золотым тиснением.

И по архитектуре это было красивейшее здание Севастополя, в котором в те времена было все-таки немало больших и красивых зданий.

Библиотека морского ведомства, собранная трудами адмиралов Лазарева и Корнилова, помещалась тоже в обширном и красивом доме, а на площадку над нею, на которой установлены были оптический телеграф и телескоп, вела мраморная лестница, украшенная сфинксами прекрасной работы.

Главные улицы Севастополя, единственные замощенные булыжником, — Екатерининская и Большая Морская, — сплошь почти состояли из вместительных двух — и трехэтажных каменных домов, — признак того, что Черноморский флот пользовался особым благоволением правительства, и офицерство в нем было богатое, около него могли наживать капиталы, раскидисто строиться и вполне благоденствовать купцы.

Даже форты, охранявшие Севастополь от нападения чужого флота, издали казались не только колоссальными сооружениями, но со своими круглыми башнями по углам были похожи на средневековые замки несокрушимой мощи.

В то время как адмиральша Берх испытывала тайные мысли Меншикова у одного из его адъютантов, другие дамы атаковали с тою же целью другого адъютанта светлейшего, двадцатисемилетнего конногвардейца, штаб-ротмистра Грейга.

— Самойло Алексеич! Скажите, как решено князем — выйдет наш флот сражаться с флотом союзников? — искательно спрашивала в кругу гораздо более молодых, чем адмиральша, дам жена капитана 2-го ранга Сулова, мать четверых детей.

— Поверьте, что об этом даже не поднималось вопроса! — прикладывал руку к сердцу, снисходительно улыбаясь, коренастый,

плотный Грейг. — Ведь до последнего времени наш флот и не выходил за рейд.

— Да, конечно, раз это было не нужно... А вдруг их эскадра с войсками подойдет к Севастополю?

— Зачем же ей идти к Севастополю?

— Как зачем? Говорят, так именно и пишут во всех заграничных газетах: цель войны, какую союзники себе ставят, — уничтожить наш флот и взять Севастополь!

Женщина с кроткими карими глазами, всецело занятая детьми, домашним хозяйством, визитами, сама Суслова, как и все дамы того времени, никогда не читала газет, считая это исключительно мужским занятием, как флотская или артиллерийская служба, как парады и выговоры, получаемые от начальства.

— А разве о том, что действительно хотят сделать наши враги, они будут кричать за несколько месяцев? — покоряюще мягко и снисходительно спрашивал ее Грейг. — Вот именно потому, что они кричат об этом очень давно, у нас и думают, что они или совсем никуда не пойдут, ограничатся одним шумом, или пойдут куда угодно, только не в Севастополь!

Этот довод показался до того убедительным, что дамы, слушавшие вместе с Сусловой Грейга, переглянулись.

— Конечно, только шпионы доносят противникам, что те один против другого задумали!

— И за это шпионов вешают!

— Хотя газетные писаки — те же шпионы...

— Однако правительства Англии и Франции, наверное, не позволили бы им писать такое, если бы это была правда?

А Грейг продолжал уверенно:

— По нашим сведениям, у них, если исключить больных, наберется не больше пятидесяти тысяч. Это очень много для десантной армии, — как можно высадить столько, у нас не представляют ясно, — но это ведь совершенно ничтожные силы для того, чтобы взять Севастополь!

— Я слышала, говорил муж, что в осажденной крепости один человек может и пятерым сопротивляться, — сказала Суслова.

— Да, это общепринято. Но ведь наш гарнизон может быть даже

побольше тридцати тысяч, так что у нас думают, что к нам союзники не сунутся! — очень торжественно заключил Грейг, заслужив этим благодарные огоньки не в одних только кротких глазах Сусловой.

Когда он говорил "у нас думают", то это значило, что думают в среде адъютантов светлейшего. Меншиков не терпел не только штабов, но даже и самого слова "штаб", и его молодые адъютанты, исполняя все штабные работы, вполне естественно считали себя "головкой" гарнизона Севастополя и всех войск Крыма. Впрочем, сын и внук знаменитых адмиралов, основоположников русского флота, штаб-ротмистр гвардии Грейг с детства знал о себе, что он рожден для блестящей карьеры, и привык с уважением относиться к своему уму.

Однако одна из дам, его окружавших, бойкая спорщица, капитанша Бутакова, вспомнила об английском парламенте, в котором обсуждались вопросы ближайших военных действий после того, как сухопутная русская армия князя Горчакова 2-го была в июне отозвана с Дуная, чтобы избежать военных действий еще и с Австрией, молодой император которой Франц-Иосиф, по выражению царя Николая, "удивил мир своим вероломством".

— Я очень, очень хорошо запомнила это, — отчетливо заговорила Бутакова, сверкая белизной безукоризненных зубов, — в парламенте обсуждался только этот вопрос: идти ли им на Севастополь? И вот все, все они, все эти лорды Пальмерстоны, и Россели, и другие решили: непременно идти! Вот...

Она даже не сочла нужным договорить: вывод и без того казался ей ясен, и кроткие карие глаза Сусловой снова обеспокоенно обратились на Грейга, но Грейг возразил веско, как взрослый в толпе детей:

— С нами воюет ведь армия, а не парламент! Мало ли чего хотелось бы парламентам, где сидят всякие рябчики!.. Я сказал "воюет", но ведь союзная армия ни разу пока еще не видела нас, а мы ее. Нам известно даже, что в армии союзников существуют большие несогласия среди командующих... А последний манифест Луи-Наполеона вам известен? Вот этот манифест гораздо ближе к истине. Там прямо так и говорится: "Враги наши от Балтики до Кавказа не знают, куда мы направим решительный свой удар..." Видите ли, какая нам объявлена милость? Не знаем и не будем знать, пока удар не

будет нанесен! Вот как сказано! Мы можем только догадываться, что не в Севастополь, а...

Высказать догадку эту Грейгу так и не удалось, потому что как раз в этот момент музыканты полкового оркестра, помещенные вместо хоров на деревянном помосте под потолком, грянули туш: командир Бородинского полка Вережкин-Шелюта 2-й почтительно встречал начальника своей семнадцатой дивизии, генерал-лейтенанта Кирьякова.

Знаменитый своим голосом, темно-малиновый от большого количества ежедневно выпиваемых им крепких напитков, с голубыми бакенбардами и усами и с голым, как ладонь, черепом, низенький, но на высоких каблуках с гремучими огромными шпорами, всячески стремящийся поддержать о себе мнение как о боевом генерале-рубке, он прежде всего справился у Вережкина, передернув широкими ноздрями:

— Командующий будет?

— Обещался быть, ваше превосходительство... До его прибытия не откроем танцев... — заторопился ответить бравый видный полковник с тою приветливой улыбкой хозяина, которую как будто надел он на себя исключительно ради этого бала.

— Прибытия... хм-хм... прибытия! — прищурил пренебрежительно глаза Кирьяков, проходя в зал.

Что генерал Кирьяков взял себе за правило презрительно относиться к командующему силами Крыма, открыто разнося в кругу своих подчиненных каждую из его мер по обороне Крыма, это знал Вережкин, знал он и то, что за это Меншиков нескрывая ненавидит Кирьякова и давно бы сместил его, если бы только власть смещать начальников дивизий предоставлена была ему царем.

Стоявший в зале портрет именинника — наследника — был густо обвит гирляндами цветов, между тем как портреты императорской четы хотя тоже были украшены цветами, но заметно скромнее. Кирьяков, остановившись перед портретами, недовольно заметил Вережкину:

— Насколько я вижу, тут кто-то у вас умствовал, полковник, хм... А в таких случаях, доложу вам, требуется как можно меньше ума, но-о как

можно больше трепета, — вот что-с!

Веревкин только наклонил скромно голову: этим занималась его жена, а он привык полагаться на нее даже в важных хозяйственных делах управления полком.

Новый встречный туш заставил его обернуться к дверям зала: входил Моллер, тоже генерал-лейтенант, но старше Кирьякова по производству, уже довольно древний старик, весьма отяжелевший, с пушистыми кудерьками снежно-белых волос, получивший от Меншикова прозвище "Ветреная блондинка" за то, что месяца два назад в депеше, полученной с семафорного телеграфа, "SO", то есть "юго-восток", принял, по незнанию морских терминов, за 50. Депеша была такая: "Неприятельская эскадра показалась на "SO". В ней не было ничего тревожного: небольшие неприятельские эскадры часто проходили в виду Севастополя, блокируя русские порты Черного моря, охотясь за каботажными судами. Но у Моллера при докладе его Меншикову получилось: "Показалась неприятельская эскадра в пятьдесят судов", — а это уж прозвучало тревожно: это могло даже означать близкую бомбардировку Севастополя с моря.

Окна собрания были открыты туда, в море, в лунную теплую ночь; двери, конечно, тоже были открыты, однако сквозняка не выходило, — даже язычки свечей в люстре почти не колыхались. Проворные солдаты собрания, усатые и с бакенбардами в виде котлеток, но без бород, как это тогда полагалось, высоко подымая над головами подносы со стаканчиками сливочного, кофейного, ягодного мороженого, обносили им дам.

Ничего не надеялись узнать обеспокоенные замыслами союзников дамы ни от генерала Кирьякова, ни тем более от Моллера. Но вот вошли вместе два Аякса^{1} флота — вице-адмиралы Корнилов и Нахимов, оба равного роста, высокие, узкоплечие, несколько сутулые, — мозг и сердце флота; Корнилов — в золотых аксельбантах генерал-адъютанта, отстающих при движении от его впалой груди, с Георгием в петлице и с Владимиром на шее. Нахимов — герой Синопа — с двумя Георгиями; оба русоволосые и светлоглазые; старший летами — Нахимов — старший из флагманов флота; Корнилов же — начальник штаба флота; и дамы, со стаканчиками мороженого или с одними

только кружевными веерами в руках, сейчас же окружили обоих.

Нахимов был убежденный холостяк, жил одиноко, тревоги дам были ему не совсем понятны, но, строгий на службе, он имел мягкое сердце в быту; обеспокоенных дам надо было успокоить. И, поворачивая то к одним, то к другим голову с низковатым покатым лбом, как на древних изображениях Александра Македонского, он говорил им:

— Ничего-ничего-с. Все идет как нельзя лучше-с, медам! Неприятель, как видно-с, все-таки побаивается нас и очень близко к нам подходить не желает-с!

— А как же, Павел Степаныч, какая большая эскадра союзная в июле стояла перед Севастополем целый день, — напоминали ему дамы. — Ведь она, разумеется, не зря стояла.

— Это — четырнадцатого числа-с? — уточнил Нахимов. — Да-с, да-с, стояла... Что же из этого-с? Постояла и ушла-с. А мы на другой день закладку собора святого Владимира произвели-с. Мы ведь не теряем присутствия духа-с. Они вздумали перед нами покрасоваться, а мы вот, видите ль-с, собор новый заложили-с... Мы их не боимся, нет-с!

Нахимов говорил это, не улыбаясь, однако и дамы переглядывались, не зная, как его понять: может быть, это была просто горькая шутка?

Несколько иначе говорил с дамами Корнилов. Смолodu любимец женщин, он сделался хорошим семьянином; никогда не отличавшийся крепким здоровьем, сам он привык беспокоиться о здоровье своих домашних; но как начальник штаба флота, он слишком много труда вложил в огромное дело устройства флота, поэтому он больше отвечал беспокоившим очень глубоко его самого мыслям, чем окружавшим его дамам, когда говорил им:

— Только вчера около наших берегов крейсировало одно английское судно — пароход "Карадок". Я его долго наблюдал в трубу. Это было не просто крейсерство: это было судно-наблюдатель. Видно, наши берега изучались очень тщательно, им делали осмотр, какой следует. Мы не могли прощупать этот пароход с наших батарей, о чем я очень жалею... Да, и эта эскадра, которая нас посетила четырнадцатого числа, она имела свои цели. Когда стемнело, она, конечно, ушла, но за день она осмотрела все, что можно разглядеть у нас в трубы с приличной дистанции, на какой она держалась.

— Так вы думаете, Владимир Алексеич, что лучше, не теряя времени, уезжать из Севастополя? — по-своему понимали его дамы.

Но Корнилов пожимал узкими плечами, продолжая отвечать своим мыслям:

— Неоспоримых оснований так именно думать я все же не имею. Змеинный остров ведь на одинаковом расстоянии и от Севастополя и от Одессы. Может быть, противник нацелился на Одессу.

— Оттуда их отобьет опять Щеголев! — сказала было одна из дам, но Корнилов поморщился.

— Ну что там Щеголев с его четырьмя пушчонками! Он, конечно, никого не отбил, это пустяки: союзники тогда высмотрели все, что им было надо, и ушли, чтобы теперь, например, высадить там десант. Одесса — город богатый и почти беззащитный. Кроме того, оттуда они могли бы выйти в Новороссию, отрезать армию Горчакова...

— Так что это именно так и будет? Значит, они пойдут на Одессу? — спросили дамы.

— Не знаю, не знаю! Если бы мы вообще что-нибудь знали наверное!

— поднял обе руки, как для защиты, Корнилов, и одна из дам заметила на это колко:

— Нет, Владимир Алексеич, что вы там ни говорите, а вы хорошо сделали, что отправили Елизавету Васильевну в Николаев!

Корнилов, не ответив на это, оглядел рассеянно поверх искусных и благоухающих причесок дам обстановку зала, заметил кое-что новое, временно внесенное сюда для украшения стен, и, слегка улыбнувшись, проговорил не в тон сказанному раньше:

— А-а, так, значит, для бала в этом собрании наши новые сослуживцы отважились на некоторый ремонт! Знато!

Действительно, бравый полковник Веревкин-Шелюта, готовя собрание к своему первому балу, рассчитанному на большое число гостей, затратил много усилий, чтобы обставить, насколько было возможно богаче и без того весьма богато обставленное Дворянское собрание.

Ведавший же всей хозяйственной частью устройства бала полковой казначей поручик Вержиковский заготовил большое количество бутылок шампанского и других вин, но на всякий случай в бакалейном магазине купца Носова, запертом со стороны улицы, дежурил

приказчик, который мог бы значительно подкрепить этот запас.

Еще в начале августа стали привозить из окрестностей и благословенных долин небольших речек Бельбека и Качи десертный виноград лучших сортов, и теперь большие корзины чауша и шаслы стояли на стойке буфета собрания рядом с корзиной летних дюшесов и душистых зеленомясых дынь. И, глядя на все это искристое, цветистое, благоухающее великолепие, кто не мог бы мгновенно забыть о какой-то англо-французско-турецкой эскадре с огромным десантом, притаившейся против устья Дуная за плоским островом, на котором будто бы погребено было тело Ахиллеса{2}, перенесенное от стен Трои матерью его Фетидой, — островом, в древности называвшимся Левке, а теперь кем-то и когда-то зловеще названным Змеиным.

Так же точно за островом Тенедосом, лежащим против Безикской бухты, таился ахейский флот, готовясь к походу против твердынь Илиона. За Тенедосом, богатым вином; поджидал Агамемнон, вождь ахейцев, остроносые суда греков, полные воинов для десанта.

В Севастополе знали, что флагманский корабль английской эскадры, таившейся теперь вместе с французской за островом Змеиным, корабль, на котором держал свой флаг командующий эскадрой адмирал Дондас, носил звучное имя "Агамемнон".

II

— Вот посмотрите, господа, на эти часы — только по рассеянности в свои карманы не прячьте — и скажите, где здесь ключик, — говорил лейтенант Бирюлев, показывая плоские, обыкновенные на вид золотые часы в группе молодых флотских офицеров в буфете собрания.

Лейтенант Астапов, склонный к полноте блондин, повертел в руках часы, посмотрел пристально на бретерское осанистое долгоносое лицо Бирюлева и сказал:

— Просто и ясно: ключик потерян.

— Все такого мнения, господа, что ключик потерян? — обвел глазами других Бирюлев. — Как будто все! Тогда смотрите. Вот я завожу часы!.. А вот я ставлю часы по часам этого собрания, так как у меня

они позади на двенадцать минут.

И он передвинул стрелку так же без ключика, как и завел часы.

И часы, только что дошедшие в Севастополь из-за границы, пошли бы гулять по рукам, если бы Бирюлев не спрятал их в карман.

— Может быть, такие часы без ключика есть у всех офицеров союзного флота, — сказал Астапов.

На это Бирюлев ответил:

— Я думаю, что и у многих армейцев. Но вот еще какая новость техники: за границей начали будто бы делать бумагу из дерева.

— Как из дерева? Из какого дерева? — удивились все.

— А из чего делают бумагу у нас? — спросил Бирюлев.

— Из тряпок, кажется.

— То-то что из тряпок. Но это — дорогая бумага, а там будто бы получается из обыкновенных бревен и очень дешевая.

— Каким же образом?

— Очень просто. Подвергаются бревна химической обработке, в результате получается прекрасная бумага.

— Вот оно что! — качнул головой лейтенант Холин, книжник и немного поэт. — Если с простыми карманными часами и с бумагой так обстоит дело за границей, то сколько же последних слов техники приготовили они для нас, грешных? А мы об этом и понятия не имеем.

— О конических пулях Минье мы уже читали, остается только увидеть их в действии, — сказал Астапов.

— Пули Минье уж не новость, я читал о каких-то ядовитых газах, — выдумал один англичанин, — только не дал я этому веры, — отозвался на это мичман Завалишин, крепкий брюнет с энергичным лицом. — Могут ли быть изготовлены такие газы?

— Отчего же нет? Есть ведь "Собачья пещера" — грот такой где-то в Италии, в котором собакидохнут. Почему жедохнут? Очень просто — ядовитые газы! — сказал Бирюлев.

— Я не об этом! Ядовитые газы, конечно, есть даже в угольных шахтах в России, — незачем в Италию ездить, — а вот как ими действовать могут? Начинять ими гранаты, что ли?

— А почему же? Хотя бы и так!

Дамы не позволили молодым флотским развить разговор о последних

словах заграничной техники в военном деле. Дамы требовали неусыпного внимания к себе, иначе зачем же они пришли на бал? Наконец, они чувствовали себя встревоженно и настойчиво требовали, чтобы их успокоили по-настоящему, прочно, отвлекли бы их мысли в беззаботное прошлое.

Несмотря на то, что огромный союзный флот заставил молодой и малочисленный русский флот укрыться в бухте под мощную защиту семисот орудий береговых батарей, севастопольская жизнь отнюдь не нарушала своего заведенного задолго до объявления войны течения.

Даже и в августе до этого последнего дня каждый день в шесть часов вечера на стодвадцатипушечном корабле "Великий князь Константин", носившем флаг Корнилова и стоявшем у Екатерининской пристани, начинал играть оркестр, а на самой пристани гремело еще несколько оркестров, как флотских, так и армейских, и даже роговой хор гусарского полка с песенниками.

И тогда на Приморском бульваре, где стоял бронзовый памятник герою Черноморского флота — лейтенанту Казарскому, начиналось гулянье, и Севастополь мог показаться даже любому мизантропу самым счастливым, самым веселым городом в мире.

На гуляньях этих много было женщин, для них в сущности и устраивались гулянья, потому что Севастополь по самому чину военной твердыни, предназначенной охранять весь юг Европейской России, был подчеркнуто мужской город. Из сорока двух тысяч его населения в те времена тридцать пять тысяч приходилось на войско гарнизона и матросов флота, а из семи тысяч остальных жителей сколько могло приходиться на женщин, если исключить чиновников, купцов, ремесленников, рабочих и детей?

Конечно, город с таким огромным количеством постоянно живущих военных привлек не одну сотню жриц свободной любви, которые, чуть только раздавалась музыка на пристани, выходили на свой промысел, отчетливо, по-военному маршируя по главным улицам — Екатерининской и Морской, по Театральной площади и пристаням. На Приморский же бульвар, где у входа дежурила с шести часов полиция, могли из них попасть только те, которые одевались "под приличных дам".

По всей основной шестикилометровой бухте, которая называлась Большим рейдом, и по рукаву ее — Южной бухте — стояли картинно красивые, хотя и со свернутыми парусами, корабли, фрегаты, бриги, бригантины, корветы, яхты, тендера, транспорты, шкуны и многочисленный купеческий флот.

Было и несколько пароходов. Все знали, что за постройкою их следил и принимал их Корнилов.

На всех этих судах, хотя и праздно стоявших, все-таки кипела привычная жизнь. Между ними и от них к пристаням — Екатерининской и Графской — скользили под веслами и на парусах боты, вельботы, шлюпки и катеры с катающимися флотскими дамами. Весело, раскатисто смеялись на тихой воде, разноцветными зонтиками защищаясь от жаркого солнца, звонко пели.

В такие "царские" дни, как этот — 30 августа, все суда бывали разукрашены флагами, и эта пестрота флагов, отражаясь в зеркале бухт, не могла не веселить глаз,

Что Севастополь совершенно неприступная крепость и взять ее с моря невозможно, в это поверили к концу дня 14 июля даже и те, кто сомневался в этом. В этот день с утра Севастополь был обложен флотом союзников, который подошел к его батареям почти на пушечный выстрел. Флот был вдвое более сильный, чем скрывшийся в бухте русский. Все видели, что лавирует он не спеша от Камышевой бухты — "Прекрасной гавани" древнего Херсона — до Балаклавы, однако не пытаясь вступать в бой с батареями фортов.

А в это время все начальствующие лица Севастополя были заняты подготовкой к торжеству закладки нового собора. И торжество это действительно состоялось на следующий день, день памяти "святого равноапостольного и великого князя Владимира", когда, по плану профессора архитектуры "действительного статского советника К. А. Тона", собор был заложен, и каждый из присутствующих на торжестве адмиралов и генералов положил свой кирпич в его фундамент, и Златоуст того времени — Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, сказал при закладке памятное слово.

— Кто не знает, что у врагов наших одно из задушевнейших желаний состоит в том, — восклицал он, подымая глаза к небу, — чтобы

отторгнуть здешнюю страну от состава России? Но скорее не останется во всех здешних горах камня на камне, нежели мусульманская луна заступит тут место креста Христова!.. Итак, не унывай, богоспасаемый град Севастополь, от множества и от злобы врагов, тебя обышедших, памятуя, что ты преемник не Ахтиара мусульманского, а православного Херсонеса Таврического!

Собор был заложен, и о визите союзной эскадры забыли. Откуда же шел источник этого неколебимого спокойствия, которого хватало на несколько десятков тысяч гарнизона и обывателей, несмотря на статьи в газетах иностранных и русских, как "Северная пчела" или "Journal de S.-Petersbourg", несмотря даже на речь Иннокентия, подчеркнувшего "задушевнейшее желание" союзников?

Источником этого спокойствия являлся сам светлейший князь Меншиков, которому было в то время шестьдесят шесть лет.

Юности свойственна пылкость, старости — хладнокровие, однако хладнокровие Меншикова кое-кому из молодых и пылких временами казалось просто преступным, потому что оно было совершенно бездеятельным. Все знали, что Севастополь хорошо укреплен с моря, но все видели также и то, что он почти совершенно открыт с суши: по линии в семь верст расположено было всего полтора ста мелких орудий. Все знали, что было время укрепить как следует подступы с суши, и все видели, что Меншиков не только сам не делал никаких распоряжений на этот счет, но даже изумлялся, когда ему говорили об этом другие. Между тем берега Большого рейда укреплялись все сильнее и сильнее, чтобы не допустить неприятельский флот прорваться в бухту. Меншиков не был моряком смолоду, однако долголетняя за последнее время служба по морскому ведомству и чин адмирала сделали свое дело: если Меншиков иногда и думал о нападении неприятеля на Севастополь, то ожидал его только со стороны моря. Это была привычка давнего адмирала — глядеть в море. И в то время как местное купечество, сложившись, купило у пьяницы шкипера Малахова курган, на котором завел было он маленькое хозяйство, на кургане этом построило оборонительную башню с амбразурами на пять орудий, сам Меншиков на устройство окружной саперной дороги в окрестностях Севастополя, дороги,

которая должна была иметь очень важное значение в случае действия неприятеля с суши, ассигновал из казенных средств всего только двести рублей, а дорогу нужно было проложить в каменистом грунте и протяжением на шестьдесят верст. Инженерное ведомство, добивавшееся у Меншикова согласия на устройство саперной дороги, не могло не охладеть к ней, получив такую сумму; дорогу начали было проводить силами солдат, но скоро бросили, и, когда доложили об этом Меншикову, это вызвало с его стороны только очередной каламбур.

Меншиков имел репутацию остроумнейшего человека своего времени. Когда царь Николай после смерти весьма престарелого петербургского митрополита Серафима в 1843 году обратился к Меншикову за советом, кого бы назначить на место умершего, Меншиков ответил: "Что же вам, ваше величество, затрудняться, когда у вас есть Клейнмихель? Извольте назначить его с отчислением по кавалерии. Он у вас только митрополитом и не был, а то всем уже был!" Один важный сановник, о котором прошла молва, что его били в игорном доме за шулерство, получил орден Андрея Первозванного, и когда Меншиков увидел его во дворце на приеме у царя в новенькой синей андреевской ленте, он сказал громогласно: "Однако основательно колотили этого мерзавца: посмотрите, какой огромный синяк у него вскочил!" На одном из придворных балов дама, бывшая с Меншиковым, спросила его, показав веером на подымавшегося по лестнице министра государственных имуществ графа Киселева: "Qui est ce general la?" — "C'est le ministre, qui s'eleve"^{3}, — тут же ответил Меншиков, намекая на то, что тогда по служебной лестнице Киселев сильно шел в гору. Но бывшие в ведении Киселева государственные крестьяне часто бунтовались, за короткое время насчитывалось сорок два бунта, усмирявшихся войсками, и Меншиков говорил о Киселеве: "Его надо причислить со всем его ведомством к военному министерству: никто, как он, не заботится о том, чтобы солдаты наши упражнялись в военных действиях в мирное время".

Подобных острот и каламбуров Меншикова ходило в обществе множество. Но, кроме присяжного остроумца, Меншиков считался еще и способнейшим дипломатом. Свою государственную службу он и

начинал как дипломат в штатских должностях министерства иностранных дел. На военную службу в гвардию он зачислился во время первой войны с Наполеоном. В конце царствования Александра вздумал вместе с несколькими другими придворными поднять голос против всесильного тогда Аракчеева и в результате вынужден был выйти в отставку и поселиться в одном из своих имений, где почему-то начал изучать морское дело, пользуясь своей библиотекой, одной из лучших частных библиотек тогдашней России.

Когда воцарился Николай, Меншиков снова поступил на службу и снова как дипломат был послан в Персию. Казалось бы, что эта служба не могла сделать из него моряка, но по возвращении из Персии Меншикову было поручено царем преобразовать морское министерство. Однако во главе морского министерства мог стоять только адмирал. Меншиков был переименован в адмиралы. Командовал десантом во время войны с Турцией в 1828 году и взял крепость Анапу, но под другой турецкой крепостью — Варной — был ранен в обе ноги ядром, в третий уже раз, притом ранен тяжело. Но уцелели все-таки ноги, и после войны он был назначен начальником главного морского штаба, потом генерал-губернатором Финляндии. Наконец, снова как дипломат оказался он при истоках восточной войны, посланный царем в Константинополь для переговоров с султаном о ключах вифлеемской церкви.

Эти ключи оказались ключами к первой после наполеоновских войн большой европейской войне.

О ключах вифлеемской церкви писали в то время очень много и в иностранных и в русских газетах, так что даже и севастопольские дамы, сухопутные и морские, отлично знали, что весь сыр-бор разгорелся из-за каких-то ключей и права водрузить серебряную звезду в алтаре вифлеемской церкви, так как ни ключей, ни звезды православные — русские — не хотели уступить католикам, католики же — французы — не хотели уступить православным.

Ключи были только символ, внешний повод. Разговоры о покровительстве грекам, болгарам, сербам и прочим христианам, земли которых входили в состав турецкой монархии, прикрывали другие, более земные — политические и экономические расчеты.

Решались вопросы о господстве или влиянии на Балканах, в Турции, Персии, об обладании рынками сбыта товаров, о контроле над проливами. Держава — покровительница христиан, всегда имела возможность воздействия на Турцию и даже занять своими войсками Болгарию, Сербию, Грецию, наконец, совсем и навсегда вытеснить турок из Европы.

Турция занимала не малое место в колониальных планах России, Англии и Франции. И в то время как Меншиков вел переговоры с Портой о ключах вифлеемской церкви, лорд Россель в парламенте произнес громовую речь, полную оскорблений по адресу Николая. Он в первый раз сказал во всеуслышание, что дело тут не в ключах, конечно, а в протекторате над Турцией. Между тем, конечно по указке свыше, архиепископ Парижский обнародовал в газетах воззвание, что вся Франция должна стать на защиту своей святой римско-католической веры от посягательств русской державы, и прелаты уже призывали на оружие Франции благословения неба.

Миссия Меншикова не привела ни к чему: султан искал себе покровителя против Николая и нашел его в лице незадолго перед этим взобравшегося на французский трон Луи-Наполеона; ключи от вифлеемской церкви были переданы католическому духовенству.

Тогда Николай решил предложить Англии через посредство английского посла Сеймура ни больше ни меньше как полюбовный раздел Турции, но с тем непременно, однако, условием, чтобы Англия не посягала на Стамбул и проливы, а вознаградила бы себя Египтом и Критом.

Но правительство Англии не хотело усиления могущества России. Длинные руки из Лондона доставали до самых русских границ, крепко зажали торговлю на Востоке. И как всегда, любая попытка изжить это положение вызывала бурю негодования и потоки лицемерных речей в английских правительственных кругах.

И Англия, бывшая до того с Францией в отношениях, близких к войне, протянула ей руку для борьбы с "нарушителем европейского равновесия" — царем Николаем.

Севастопольские дамы не знали причин войны. В театре они все пересмотрели пьесу Нестора Кукольника "Морской праздник в

Севастополе, или Синопский бой", в морском собрании они видели картину молодого художника-мариниста Айвазовского, имевшую темой тот же подвиг Черноморского флота. Но ходили слухи, что англичане, раздраженные победой Нахимова, блистательно истребившего турецкую эскадру в Синопском заливе, деятельно готовились к длительной и большой войне, чтобы русский флот перестал существовать и чтобы Севастополь, как древний Карфаген, был разрушен.

Между тем все разговоры и с адъютантом Меншикова, и с адмиралами, и с генералами, близкими к светлейшему по делам службы, не успокаивали дам. Ответы казались им явно уклончивыми, генерал же Кирьяков ответил насмешливо, что лучше его знают сами союзники, куда именно они вздумали вести десант.

Однако дамам казалось бесспорным, что, кроме союзников, должен знать это тот, кому вверена судьба Крыма, — главнокомандующий сухопутными войсками и флотом, светлейший князь, который к тому же, как было известно, состоит в личной переписке с самим царем. Он — дипломат, конечно, он может не сказать из каких-нибудь соображений этого прямо, если его спросить, но успокоительный ответ всегда ведь можно прочесть на его лице.

И когда полиция, оцепившая с площади дом Дворянского собрания, чтобы праздная публика не смела прохаживаться под окнами, дала знать на лестницу, что вышел из дворца светлейший, дамы из разных углов залы и кабинетов собрания поспешно столпились около входных дверей.

Меншикова звали Александр Сергеевич, и он также был именинником в этот день, как и наследник. И если офицерам флота и армии была возможность поздравить именинника перед парадом и после парада, во время обеда в морском собрании, то дамам предоставлялось сделать это теперь.

Внушительных размеров букет чайных роз и алых гвоздик был приготовлен для этого хозяйкой бала, полковницей Веревкиной, молодой крупной женщиной тех расплывшихся, но искусно стянутых форм, которые вежливо зовут роскошными.

Меншиков поднимался по невысокой, но широкой мраморной

лестнице, устланной красным ковром и ярко освещенной свечами в бронзовых бра, весьма торжественно. Он был более чем высокого роста, — это было в роду у Меншиковых, начиная с основателя рода "безвестного баловня счастья", петровского денщика.

Несмотря на свои преклонные годы, именинник держался прямо; седые волосы на вытянутой голове были еще довольно густы; коротко подстрижены были белые усы, черные глаза глядели внимательно не под ноги, на ступеньки и ковер, а вверх, где у дверей толпились дамы и слышалась из зала подготовка оркестра к радостному тушу.

Он казался при своем росте сухощавым, если не худым, однако это не была сухощавость стариков его лет, это была его прирожденная стройность, которую передал он и своему сыну Владимиру, генерал-майору, шедшему с ним рядом, справа, а слева, на шаг сзади него, держался старший его адъютант — полковник Вунш.

Хозяйка бала встретила светлейшего именинника в дверях, скрывая нижнюю половину своего дородного, вдруг покрасневшего лица за букетом. Она приготовилась было сказать небольшую речь наподобие речи Иннокентия при закладке собора, конечно гораздо проще, но проговорила только:

— Поздравляем вас, Александр Сергеевич, с торжественным днем вашего ангела...

И неожиданно даже для себя самой остановилась: все остальные слова как-то мгновенно вылетели из ее головы, а букет совершенно непроизвольно потянулся к золотым аксельбантам князя.

Князь благосклонно поблагодарил ее невнятной французской фразой и, молодежато склонившись, поцеловал ее пухлую руку.

Дамы кругом кричали:

— Поздравляем! Поздравляем, ваша светлость! С ангелом!

Наконец, грянули музыканты и покрыли все голоса. Прижимая к груди букет, Меншиков наклонял голову влево и вправо, и улыбка его при этом была похожа на досадливую гримасу. После обеда в морском собрании он спал часа два-три, но теперь его мучила изжога, и он думал только о содовой воде. Вечерний свет скрадывал желтизну его лица, очень заметную днем. Ноги его побаливали, но к этой боли он уже приспособился, привык: это была давнишняя его подагра; иногда

она разыгрывалась, но теперь была вполне терпима.

Генерального штаба полковник Вунш, плотный белокурый человек лет тридцати двух-трех, спрашивал между тем на ухо у Веревкина, приготовлен ли в собрании кабинет для князя, и Веревкин торопливо выдвинулся вперед, чтобы провести главнокомандующего в кабинет, убранный особенно заботливо.

Но дамы не разомкнули своего тесного круга перед сделавшим было шага два вслед за Веревкиным светлейшим. Ведь только он мог и должен разрешить все их сомнения и снять их страхи. И одна из дам, стоявшая к нему ближе других, жена капитана 1-го ранга Юрковского, застенчивая вообще, но теперь вдруг проникнувшаяся решимостью, сказала неожиданно, когда музыканты умолкли:

— У меня десять человек детей, ваша светлость!

— Да-а?! — непонимающе поднял седые брови Меншиков.

— И самый старший мой всего только кадет третьего класса... — продолжала Юрковская. — И я, как и другие матери, хотела бы знать, оставаться ли нам в Севастополе, если это безопасно, или же... или мы должны куда-нибудь выехать?

Брови князя опустились даже ниже, чем нужно, так как теперь он понял, но, чтобы ответить не сразу, спросил:

— Однако чего же именно вы опасаетесь?

— Неприятельского десанта, разумеется! — ответила за Юрковскую бойкая Бутакова.

— Который направляется в Севастополь! — закончила за Бутакову Суслова с кроткими глазами.

— Ка-ак так направляется в Севастополь? — опять вспорхнули брови князя. — Ведь десант продолжает стоять у Змеиного острова? — посмотрел он на своего сына, на Веревкина, на Корнилова и, остановив встревоженный взгляд на начальнике штаба флота, спросил начальственно: — Разве были еще депеши?

— Никаких с утра, ваша светлость! — поспешно ответил Корнилов.

— Значит, неприятельская армада как стояла, так и продолжает стоять? — обвел с высоты своего роста всех столпившихся дам несколько игривым даже взглядом Меншиков.

Однако Юрковская снова спросила за всех:

— Но ведь она когда-нибудь тронется все-таки и пойдет... Куда же именно?

— Ах, вот что! Вам хочется знать, куда именно пойдет! — улыбнулся Меншиков и ответил быстро, но многозначительно: — На Кавказ!

— На Кавказ? — изумленно повторила Юрковская, а за нею еще несколько дам. — Почему же на Кавказ?

— Таково мнение его величества, — прищутив глаза, ответил князь.

— А вы лично... ваше личное мнение? — не звонко, но настойчиво спросила Бутакова.

— Какого мнения я лично? — на вид чрезвычайно изумился детскому вопросу хорошенькой женщины главнокомандующий и ответил наставительно и потому как будто сурово: — Если мне известно мнение его величества, я не имею права держаться каких-нибудь других мнений!

Серьезность и даже как будто суровость князя, когда он говорил это, была вполне точно понята дамами, а возможность десанта на Кавказе, о чем они иногда слышали и раньше, тоже стала как-то совсем бесспорной после его слов.

Действительно, где же еще и велась война, как не на Кавказе? У некоторых из дам родственники погибли в этой войне, у других погибали, третьи успели уже состариться, в первый раз еще в детстве услышав о войне на Кавказе. Просто Кавказ это и было такое место, где воюют и куда, для медленной или скорой смерти, как кому повезет, высылают правительство тех, кого вздумает разжаловать.

Как-то сразу стало ясно, что больше и некуда идти этому досадному десанту, как только туда, на Кавказ, где принято воевать бесконечно.

И круг дам около Меншикова почтительно и благодарно разомкнулся, и князь смог, наконец, проследовать в кабинет и спросить себе содовой воды.

Музыканты же ретиво грянули котильон, которым обыкновенно начинались в те годы танцы на всех балах, неизменно заканчиваясь мазуркой.

На противоположной стороне улицы собралась толпа любопытных послушать музыку оркестра Бородинского полка, посмотреть на то, что можно было увидеть вблизи этого приманчивого для иных юных

сердце севастопольского дома веселья.

Пристав, дежуривший около собрания, счел это скопление народа недопустимым и послал двух будочников разогнать толпу. Но в толпе оказалось несколько офицеров из огромного числа не попавших на бал, и будочники сконфуженно вернулись ни с чем.

Среди этих фланирующих по Екатерининской улице офицеров было два флотских — мичман Невзоров и лейтенант Стеценко, которые с двенадцати часов должны были становиться на вахту на телеграфной вышке морского собрания.

Вышки оптического телеграфа были раскинута по всему берегу от Севастополя до Николаева. Они устраивались на таком расстоянии друг от друга, чтобы днем можно было разглядеть сигналы флагами и шарами, ночью — семафорами. Депеши, полученные таким образом, поневоле немногословные, передавались с одной вышки на другую, пока не достигали Севастополя — в одну сторону или Николаева — в другую, — двух портов на Черном море, в административном отношении наиболее важных.

Мичман, только что сам покинувший ради вахты бал, говорил лейтенанту:

— Поглядели бы вы, как Бирюлев прыгает! И с кем это он? С Ниной Бутаковой! Вот кому везет по всем статьям! В Нину ведь и я влюблен, однако я вот должен идти на вахту, а он с нею танцует!.. А третьего дня заложил банк и всех нас обчистил... Я от него вышел, — положительно сел на экватор.

Фраза — "сесть на экватор" — была в те времена в большом ходу у черноморских моряков, когда надо было выразить полное безденежье. Лейтенант Стеценко был постарше Невзорова и считался одним из серьезнейших среди флотской молодежи. Совершенно невозмутимый, обычно с плотно сжатыми губами, как будто совсем и не приспособленными к улыбке, и с пристальным взглядом небольших серых глаз, точно постоянно занятый измерением и съемкой местности и встречных лиц, лейтенант отозвался, кивнув на окна:

— Очень похоже на так называемый пир Валтасара^{4}! А между тем как-то неудобно даже: вдруг союзники направятся к нам, а мы, извольте полюбоваться, встречаем их танцами!.. Ка-ка-я, подумаешь,

счастливая Аркадия{5}!

— Не сунутся к нам союзники! Одни разговоры!.. — И Невзоров по-прежнему жадно вглядывался в окна, хотя в них, конечно, ничего не могло быть видно, и вдруг толкнул Стеценко, почти простонав тоскливо: — А-ах, божественная Катрин и противный Сколков! Если б вы только видели эту пару!

— А в Катрин вы тоже влюблены? — осведомился Стеценко.

— Безгранично!.. Эх!.. Если бы не эта проклятая вахта, я и сейчас был бы там! Представить только!

— Это представить не трудно... Гораздо труднее представить следующий бал в Севастополе.

— Семнадцатого сентября будет!

— По-че-му вы убеждены в этом?

— Как же почему? Семнадцатого — Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. Пол-Севастополя будет именинниц! И чтобы не было в этот день где-нибудь бала... Что вы!

— Ну, пойдем уж на вахту, — отвернулся от Невзорова Стеценко и не остался, хотя тот умолял его постоять еще немного.

Мичману пришлось догонять его, зашагавшего неумолимо четко, хотя минут десять, по всем расчетам, они могли бы еще подождать.

А бал между тем к этому времени вполне разгорелся, и разгорелся пышно.

Сам олицетворенное спокойствие на весьма длинных (трижды — под Рущуком, Парижем и Варной — раненных) ногах, князь Меншиков, так успешно успокоив дам и выпив необходимой ему содовой воды, расположился в кабинете собрания со всеми возможными не у себя дома удобствами.

Молодой Меншиков и полковник Вунш остались в зале, а тут около светлейшего сидели, кроме Нахимова и Корнилова, все почтенные старцы: "Ветреная блондинка", Моллер, которого молодежь называла иногда "Рамоллер", производя это олово от "рамоли"{6}, вице-адмирал Станюкович, бывший в Севастополе командиром порта, — пост, равный генерал-губернаторскому, и князь Горчаков 1-й — генерал от инфантерии, командир корпуса, старший брат главнокомандующего Южной армией, которую отодвинули от Дуная

австрийцы.

Станюкович был годами старше даже светлейшего: ему было без нескольких месяцев семьдесят лет. Когда-то бравый флотоводец, теперь он стал только хлопотуном и канцеляристом, ретивым хранителем всякого весьма многочисленного казенного добра, скопившегося за долгие годы в порту. Серые когда-то глаза его выцвели и глядели подслеповато. Он часто нюхал табак, медленно доставая для этого табакерку и большой фуляровый платок. Потом, прочихавшись, прятал так же медленно то и другое, чтобы через несколько минут снова нашаривать их, совсем не в тех карманах, куда положил, и не совсем уже послушными, костенеющими руками. Слышал он тоже уже плоховато, хотя всячески силился это скрывать.

Горчаков был года на два моложе светлейшего, почти такого же роста, как он, и, пожалуй, не меньшего хладнокровия. Он был боевой генерал, участник многих сражений, и на его опытность возлагал большие надежды Меншиков в случае, если б действительно англо-турко-французы вздумали когда-нибудь впоследствии, ради демонстрации, высадиться в Крыму.

Так в не особенно большой комнате этой собрались почти все, от кого зависела судьба крепости и флота, города и Крыма в случае, если бы союзники пустились выполнять волю английского парламента.

Правда, в городе и в окрестностях его — в казармах, палатках и на судах — спали теперь десятки тысяч солдат и матросов, и от них как будто тоже зависело кое-что, но они обязаны были только делать то, что начальство прикажет, без промедления и рассуждений: наиболее вредными для дела войны считались у солдат и матросов какие бы то ни было свои мысли.

На столе перед светлейшим стояла бутылка шампанского; не без основания, может быть, именно этому коварному вину приписывая свою подагру, Меншиков все-таки не имел достаточного запаса воли, чтобы от него отказаться, тем более теперь, когда, как всегда в день своих именин, он чувствовал себя празднично и не прочь был несколько разойтись.

Не желая напрягать голосовых связок, он говорил негромко, так что Станюкович таращил на него глаза и тянулся к нему открытым ртом и

левым ухом:

— Так же точно, господа, как адмирал Непир боится Кронштадта, как черт ладана, и только несчастные финские лайбы топят, так и Дондас с Гамеленом не сунутся к Севастополю, — нет, будьте покойны!

— Да, конечно, Непир бездействует, — живо подхватил Корнилов, — но ведь берега балтийские кое-где все-таки минированы, а у нас что?

— Минированы? — насмешливо качнул головой светлейший. — Пус-тя-ки это все! На всякие мины есть свои контрмины... Мины можно поставить, — мины можно выловить...

Однако Корнилов не сдавался:

— Ну, под выстрелами береговых батарей не так легко выловить мины, ваша светлость!

— Крепостная артиллерия не может рассчитывать на меткость стрельбы по движущимся целям, но вы правы, конечно: под выстрелами батарей не так бывает приятно даже английским кораблям, и они предпочитают уходить, — неуловимо улыбался его словам Меншиков, улыбкой, похожей в то же время и на гримасу от подагрических болей. — Вообще эта привычка Англии сначала объявить войну, а потом начать к ней готовиться — очень смешна. Помнится, месяцев пять назад было сообщение в газете, что начали точить на наши головы одиннадцать тысяч сабель в Портсмуте; кажется, потом месяца через два было, что их продолжают точить в Плимуте, а совсем недавно где-то попало мне, что их дотачивают в Облимуте. Однако это едва ли конец, мы еще прочитаем через полгода, в каком городе, может быть в Манчестере, их окончательно наточили! Только тогда они и решатся сделать десант на Кавказе. Кстати, через полгода начнется весна, а на зиму глядя кто же делает десант?

Из всего сказанного князем Станюкович вполне ясно расслышал только "десант на Кавказе", поэтому он взмахнул радостно табакеркой, которую забыл спрятать, и подхватил:

— Стало быть, на Кавказе десант? Это значит, Александр Сергеич, вполне решено и подписано, а?

Но Меншиков развел длиннопалыми руками, усмехнувшись:

— В Петербурге — да... А как решили Сент-Арно с Рагланом, мне

неизвестно... Между нами, господа, — впрочем, это, может быть, и не секрет уже, — я ведь писал государю еще месяца два назад о своих взглядах на этот предмет... Может ли противник высадить десант в Крыму и где именно удобнее было бы ему высадиться, это я разобрал в своем письме, кажется, довольно подробно.

— И какое же место для высадки нашли вы наиболее возможным? — спросил Горчаков.

— А вы как бы думали?

— Гм... Может быть, Перекоп, чтобы сразу отрезать весь Крым? — не совсем решительно ответил Горчаков.

— Далеко! Туда они не пойдут-с! — оторвался от своей трубочки Нахимов. — Это далеко-с!

— Херсонес! — решительно сказал было Моллер, но тут же, как напроказивший мальчик, тревожно оглядел всех, особенно светлейшего, а Корнилов, разглядывая свой перстень на левой руке и будто думая вслух, проговорил медленно:

— Если уж ждать их, то где-нибудь тут — между Качей и Евпаторией.

— Совершенно верно, Владимир Алексеич! Так именно я и писал, — кивнул Меншиков. — Я пересмотрел все возможные пункты высадки: Перекоп и даже Феодосию, Керчь, — и пришел к выводу, что или в самой Евпатории, или южнее... И просил усилить меня хотя бы вдвое. Но-о... мне предложено было усилить моими войсками генерала Хомутова, и туда, к нему, на Северный Кавказ, все гонят подкрепления и пушки. Значит, есть какие-то основания для этого, нам с вами неизвестные.

— Да-с, наступает сентябрь, месяц равноденствия, — выбил и спрятал свою трубочку Нахимов. — Они еще незнакомы с нашим Черным морем, так вот-с — пусть познакомятся.

— В сорок восьмом году, при покойном Лазареве, помните, какая буря была у берегов кавказских? Вот так и теперь может случиться, — сказал Станюкович. — Вот тогда им и будет десант! У нас тогда три судна погибло, у них может быть гораздо больше потерь!

— Не пойдут они на Кавказ! — вдруг громко и решительно заявил Моллер, и все посмотрели на "Ветреную блондинку" ожидающе и молча, но Моллер был напыщен, красен и только вращал глазами.

— Почему не пойдут? — спросил, наконец, Корнилов.

— Потому что они ведь не круглые же дураки, — вот почему! — "Ветреная блондинка" стал воинственно барабанить мясистыми пальцами по подлокотнику кресла, в котором сидел.

— Они, конечно, люди неглупые, — улыбнулся Меншиков, — но что войну ведут они непостижимо глупо, кто же будет против этого возражать?

Между тем как в кабинете успокаивали самих себя те, кто привычно считался мозгом и волей Севастополя, дамы в зале и других комнатах собрания чувствовали уже себя успокоенными прочно. Опыненные музыкой и дозволенной в обществе близостью молодых, здоровых, веселых, остроумных, воспитанных, а главное совершенно посторонних мужчин, с которыми можно за эти несколько часов натанцеваться, игриво наговориться и нафлиртоваться вволю, отнюдь не давая определенных надежд на большую близость, но в то же время и не лишая никого этих надежд, молодые и средних лет дамы, а также девицы, весьма немногочисленные, впрочем, в этом городе неисчерпаемого запаса женихов, к половине первого вошли в пределы вполне счастливой беспечности.

Буфет работал вовсю.

Презрительно относившийся к Меншикову генерал-лейтенант Кирьяков в кружке удачно подобранных контр-адмиралов и капитанов 1-го ранга, а также одного из своих бригадных — генерал-майора Гогинова, пил крепкий портер, в изобилии заготовленный хозяйственным поручиком Вержиковским, и то рассказывал сам, то, раскатисто хохоча, выслушивал от собеседников несколько пожилые, но все же казавшиеся после нескольких бутылок портера не лишенными еще пикантности анекдоты.

Десертному винограду и душистым зеленомясым дыням была оказана должная честь. В избытке чувств роскошнотелая хозяйка бала распорядилась умеренно угостить и музыкантов, и когда подкрепившиеся музыканты с новой энергией взялись за свои валторны, фаготы и кларнеты и завихрилась мазурка, в собрание вошел лейтенант, одетый так, как полагалось для вахтенных офицеров, и спросил полковника Веревкина, не здесь ли начальник

штаба флота.

— Адмирал Корнилов здесь, — ответил Веревкин, — только... я не знаю, будет ли это удобно...

— Получена на телеграфной станции очень важная депеша, — строго сказал вахтенный.

— Да, если важная депеша, — конечно... Как о вас доложить?

— Лейтенант Стеценко.

Через минуту Веревкин сам ввел лейтенанта в кабинет и вышел, плотно затворив за собою дверь.

Стеценко, мгновенно оглядев находившихся в кабинете и сделав два шага в направлении Меншикова, четко стукнул каблуком о каблук и сказал тоном рапорта:

— Ваша светлость, только что получена на телеграфной станции депеша о движении неприятельского флота.

И удивленному князю протянул форменный, синего цвета бланк, в который вписывалось переданное семафорами.

Лорнет, вынутый Меншиковым из бокового кармана кителя, заметно дрогнул в его крупной руке, когда он приставлял его к глазам, чтобы прочесть депешу. Он прочитал ее два или три раза, — так показалось остальным, сидевшим в кабинете; наконец, он сказал глухо, отнимая лорнет от глаз:

— Это, господа, нужно будет еще проверить завтра... то есть уже сегодня, с восходом солнца. Депеша эта могла быть составлена опрометчиво.

— А содержание ее? — быстро спросили и Корнилов и Горчаков.

— Содержание такое: "Неприятельский флот в несколько сот вымпелов держит курс на ост к западным берегам Крыма", — снова вскинув лорнетку, прочитал Меншиков.

Все переглянулись, а Меншиков обратился к Стеценко:

— Кого вы оставили на станции, лейтенант?

— Мичмана Невзорова, ваша светлость.

— Ага... ночь светлая?

— Почти полная луна, ваша светлость.

— Ветер?

— Был вест, теперь упал и полный штиль, ваша светлость.

— В депеше не сказано, где находится сейчас флот?

— Депеша отправлена из Николаева, ваша светлость.

— Во всяком случае, если штиль, они недалеко уйдут: у них очень много парусных судов и, чтобы их вести на буксире, не хватит пароходов.

Среди очень обеспокоенных лиц лицо Меншикова удивило лейтенанта своим спокойствием. Князь сложил депешу вчетверо и сказал Стеценко тоном приказа:

— Отправляйтесь сейчас же и установите, где именно в данное время находится флот. Депешу доставьте мне лично, но не сюда, а ко мне во дворец.

— Есть, ваша светлость!

Показав прекрасную выправку на повороте, Стеценко вышел.

А Корнилов, глядя на Меншикова, сказал не то чтобы зло и не то чтобы возбужденно, а как человек, с которого свалилась тяжесть ожидания, мучившая его очень долго:

— Ну, вот, наконец, и дождались!

— Чего именно? — живо отозвался Меншиков. — Что армада сдвинулась с места? Она и должна была сдвинуться когда-нибудь, чтобы пойти на Анапу, к Хомутову.

— На Анапу ли?

— А чтобы дойти до Анапы, ей надо обогнуть Крым.

— Но в депеше ясно сказано "на ост", а не на "зюйд-ост"! Ведь для того, чтобы обогнуть Крым, надо идти на зюйд-ост, а не на ост. Змеиный остров и Евпатория на одной высоте...

И Корнилов ногтем большого пальца на белой глаженной скатерти провел две черты: одну совершенно прямую от воображаемого Змеиного острова к Евпатории, другую — изогнутую на конце — к Анапе.

Меншиков же заметил на это досадливо:

— Вы вспомните-ка лучше, где Николаев и каким это образом из Николаева могли увидеть движение флота в открытом море!

— Очевидно, туда дали знать из Одессы верхами-с, — вставил Нахимов.

— Это и показывает, что депеша нуждается в проверке.

Никто уже не сидел, все стояли, потому что встал Меншиков.

Станюкович, как открыл рот еще при чтении князем депеши вслух, так и не закрывал его, и, глядя то в этот открытый рот, то в белые глаза адмирала, говорил возбужденно Моллер:

— Я ведь только что, — вы слышали? — сказал, что они не дураки, чтобы идти на Кавказ! И вот я оказался прав!

— Дешу, конечно, надо проверить, — выразил свое мнение и Горчаков, он вынул часы, медленно открыл крышку, присмотрелся к стрелкам и добавил: — До утра осталось уж не так много, а утро, говорят, вечера мудренее.

— Ваша светлость! Прикажете готовить флот к бою? — вытянулся строевому перед Меншиковым Корнилов.

— Нет, это и преждевременно и... и вообще лишнее, — недовольно ответил Меншиков.

Однако все в этом кабинете, уютно обставленном, поняли вдруг, что бал надобно закончить немедленно.

Но это поняли и в зале.

Полковник Веревкин ждал выхода лейтенанта Стеценко, чтобы узнать от него, что за важная новость получена на телеграфе, и Стеценко не считал нужным скрыть содержание депеши, так как не получил от командующего приказа держать это в тайне, бал же этот был ему противен и раньше, когда он глядел с улицы на освещенные ярко окна.

Он вспомнил три гневные строчки Лермонтова:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!

И он сказал Веревкину настолько отчетливо и громко, чтобы могли слышать и другие, кто оказался около:

— Неприятельские силы идут к берегам Крыма!

И тут же вышел на лестницу.

Когда из кабинета показались Меншиков и другие, в зале уже все знали страшную новость. Она промчалась по собранию почти мгновенно, как электрический ток.

Фаготы и кларнеты умолкли, но слышен был мощный бас адмиральши

Берх:

— Ну, вот и доплясались!.. А теперь уж, пожалуй, отсюда и не уедешь! Та сложная военная операция, которая могла еще когда-то совершиться, молниеносно совершилась уже в испуганном мозгу.

Кто-то крикнул тоскливо:

— А днем-то едва ли уж и извозчиков найдешь!

И мать десятерых малолетних детей, капитанша Юрковская, с побелевшим и сразу опавшим лицом, не желая уже терять ни минуты времени на разъяснения светлейшего, ринулась вон из зала. За ней другие.

Светлейший, впрочем, ничего не разъяснял. Он видел смятение дам, понял, что оно вызвано не кем иным, как тем же весьма исполнительным по службе, кстати имевшим и боевой опыт на Кавказе, лейтенантом Стеценко, но не счел нужным ни осудить за это лейтенанта, ни успокаивать кого бы то ни было.

Ему и самому казалось очевидным, что союзники, если они действительно высадятся в Крыму, сейчас же выдвинут сильный заслон на большую дорогу из Севастополя в Симферополь.

Подошедшему к нему с обеспокоенным лицом сыну он сказал вполголоса:

— Как я писал в Петербург в июне, так, кажется, и случилось.

Обычно такие кроткие карие глаза Сусловой сделались неузнаваемо негодующими, когда она, стремясь к выходу, взглянула теперь на красноречивого адъютанта светлейшего конногвардейца Грейга.

Глава вторая. Враги пришли

I

Депеша, полученная на телеграфной станции при морском собрании в ночь на 31 августа, несколько предупредила события.

Из Николаева, с бухты реки Буга, конечно, никто и ни в какую подзорную трубу не мог бы разглядеть движения великой армады, но не только за слишком большою дальностью расстояния, а также и потому, что армада никуда не двигалась в этот день: для парусных

судов, из которых в огромном большинстве она состояла, не было достаточной силы ветра.

Однако искать виновного в передаче ложного слуха как военного донесения Меншикову долго не пришлось: армада покинула Змеиный остров и двинулась действительно к берегам Крыма, а не Кавказа, в полдень 31-го числа, когда окреп попутный ветер, и депеши об этом шли уже уверенно и настойчиво одна за другою. В одной указывались даже приблизительные размеры армады — семьсот вымпелов, в другой говорилось, что армада покрыла море на четырнадцать верст в ширину.

В этих депешах была уже некоторая обстоятельность и точность, так необходимые в деле войны. Было видно, что наблюдатели — моряки, сидевшие в мелких каботажных судах в открытом море, стремились подсчитать безошибочно силы врагов, чтобы было что передать на семафорные вышки. Можно было представить, получая подобные депеши в Севастополе, и то, что неприятельские эскадры идут в собранном виде, имея определенную цель впереди и не желая отвлекаться преследованием каких-то жалких лодок, сколько бы наблюдателей в них ни сидело: они шли открыто и с сознанием полного превосходства своих сил.

К Севастополю, гордой русской крепости, стоящей на прочной скалистой суше, плыла по Черному морю на пароходах и огромных двух — и трехдечных парусных линейных кораблях, на фрегатах, корветах, бригах, на транспортах больших, средних и малых новая крепость.

Все эти сотни судов везли не только до семидесяти тысяч полевых войск с расчетом по тысяче артиллеристов на восемь тысяч пехоты, не только огромные осадные орудия — пушки и мортиры, не только бесчисленное количество снарядов к ним, не только сорок тысяч туров, но и сотни тысяч мешков, набитых шерстью и землей — турецкой землей, из окрестностей Константинополя, из-под Скутари и Галлиполи, и ближе — из Варны, из Балчика... Казалось бы, мешки можно было привезти и пустые, но известен был каменистый грунт на подступах к Севастополю, и представлялось проще и легче привезти воду вполне готовые бастионы.

Корреспонденты иностранных газет, посещавшие лагеря союзников весною и летом, были нетерпеливы, конечно, как наиболее нервные из городских людей. Они жаждали скорейшего начала военных действий, чтобы красочно живописать их для своих газет, но военных действий не было, и им казалось, что армии, собравшиеся сначала в Константинополе, а потом в Варне, собирались только затем, чтобы постепенно вымирать там от холеры и изнурительной лихорадки.

Но армии отнюдь не бездействовали, — напротив, они готовились к походу с большой поспешностью и чрезвычайно обдуманно. Готовясь к осаде крепости, они только к этому и сводили все учения в поле, в то время как огромный французский флот и несравненно больший английский безостановочно работали, подвозя из Марселя и Дувра дивизию за дивизией.

Один английский океанский пароход "Гималая" брал сразу по два полка пехоты, с артиллерией и обозом, и окрестности Константинополя переполнялись массами европейцев, проявивших такую деятельность, что она приводила в ужас царство табака, кальяна и кейфа.

Находя берега Дарданелл и Босфора очень плохо защищенными, французы и англичане энергично начинали применять к укреплению их последние достижения инженерного искусства Запада. По всем правилам фортификации укрепляя берега, они даже через такие священные места мусульман, как кладбище, проводили траншеи, деловито выбрасывая вон кости покойников.

Турки отлично знали, что очень часто случалось в истории, когда чужеземные войска, приглашенные на помощь другим правительствам, охотно приходили, но весьма неохотно уходили, оказавши помощь, а чаще всего оставались как завоеватели.

Французы, как народ, более сангвинический в противоположность холодным англичанам, и вели себя в Галлиполи и Скутари, где они расположились в турецких казармах и по домам обывателей, как в завоеванной стране.

Они назначали на съестные припасы и на все, им необходимое, свои цены, и на адрианопольского пашу, назначенного султаном, чтобы помочь союзникам устроиться на турецкой земле, французский

генерал Канробер совершенно по-хозяйски топал ногами и кричал, требуя в апреле, когда уж никто в Турции не топил печей, дров для топления казарм.

Однако, — и это случилось в первый раз в истории турецкого государства, — шейх — уль-ислам — глава турецкого духовенства, издал приказ по мечетям служить молебны о даровании победы оружию гяуров, к величайшему, конечно, изумлению аллаха и Магомета, пророка его.

Тысячеминаретный Стамбул не один раз видел теперь на своих площадях и парады французских войск, которые, как театральные постановки, проводил в присутствии султана Абдул-Меджида главнокомандующий французских войск маршал Сент-Арно, настоящая фамилия которого была Леруа, актерская же — так как до поступления на военную службу он был мелким провинциальным актером — Флоридадь.

Сент-Арно выдвинулся в Алжире во время жестокого усмирения кабил, деревни которых он уничтожал до основания. Этот талант его — жестокость — был отмечен в Париже. Когда племянник Наполеона, Луи Бонапарт, добившийся поста президента Французской республики, вздумал возродить империю и взойти на трон, он отыскал Сент-Арно в Африке, сделал его военным министром и своим послушным орудием в деле истребления свободолюбивых парижан 4 декабря 1852 года.

Тогда по непосредственному приказу Сент-Арно подпаиваемые на деньги Луи Бонапарта солдаты не только разметали артиллерийским огнем баррикады на улицах Парижа, но беспощадными и бессмысленными залпами расстреливали и обычные уличные толпы, фланирующие по тротуарам, и даже любопытных, высыпавших из своих квартир на балконы посмотреть на необычайную стрельбу.

Окровавленный Париж, потерявший тогда несколько десятков тысяч человек убитыми и ранеными, был приведен в трепет и молчаливо признал Луи Бонапарта императором, а не признавшие из депутатов парламента частью были расстреляны, частью сосланы в колониальные страны, частью просто высланы или, как Виктор Гюго, бежали из пределов Франции.

Генерал Канробер, тоже выдвинувшийся в Алжире при разгроме кабийских деревень, помогал Сент-Арно и при разгроме Парижа. Эти два "декабрьские" генерала стояли во главе французских войск, как во главе английских — два бывших адъютанта герцога Веллингтона, которому приписывали в Англии победу над Наполеоном, точно так же, впрочем, как в Пруссии чтили за то же самое Блюхера.

Эти два бывшие адъютанта и ученики Веллингтона были: главнокомандующий лорд Раглан и начальник одной из дивизий генерал сэр Джордж Броун.

Лорд Раглан был тех же лет, что и князь Меншиков, но он был однорукий: в битве при Ватерлоо, когда состоял он при Веллингтоне для поручений, ему оторвало правую руку ядром.

Сент-Арно был значительно моложе Раглана, — однако в свои пятьдесят три года он был уже полумертвец. Он страдал неизлечимой болезнью желудка, и Луи-Наполеон, отправляя его на Восток, в то же время снабдил Канробера бумажкой, по которой тот должен был принять командование над войсками в случае смерти Сент-Арно.

Как бывший актер Сент-Арно любил говорить речи перед войсками, издавать цветистые приказы по армии и писать реляции в стиле монологов ложноклассических пьес. Но врачи, лечившие его, не говорили ему, что дни его сочтены. Напротив, они уверяли, что труды и заботы боевой жизни будут для него гораздо лучше всяких лекарств. В Африке ему никогда не приходилось командовать отрядом больше, чем в шесть тысяч; теперь же под его командованием была огромная армия, которая готовилась воевать отнюдь не с кабилами, и он временами впадал в отчаяние от возможной неудачи похода, и это плохо действовало на окружающих. Тогда он требовал от императора Наполеона III, чтобы тот отозвал в Париж дивизионного генерала, принца Жерома Наполеона, своего дядю, которому было уже под семьдесят и который, по мнению Сент-Арно, разлагающе действовал на всю французскую армию своим гомерическим пьянством и обжорством.

Принц Жером, впрочем, не оставался в долгу и слал племяннику жалобы на Сент-Арно. Наполеон III был тогда еще довольно молод, но обладал совершенно невозмутимым спокойствием и терпеливо ждал

смерти обоих.

Он знал, что война, затеянная им совместно с Англией, может принести в случае удачи пользу только Англии, а не Франции, интересы которой не сталкивались жизненно с интересами России.

Но некоторые молодые люди склонны переоценивать свои таланты, особенно военные, и он, которому посчастливилось, хотя и при третьей уже попытке, попасть так легко на трон, завоеванный некогда его дядей, не мог не думать, что часть военного гения Наполеона живет и в нем. Союз с Англией был тем более для него ручательством победоносной войны, что Англия держалась золотого правила не проигрывать войн. А начать свое царствование счастливой войной значило приобрести популярность в народе

Буржуазию думал он привлечь, предоставив ей возможность нажиться на поставках для армии; офицерство — быстрым производством в чины, так как всякий убитый или тяжело раненный офицер очищает свое место для младшего в чине; солдатам же, которым повезет уцелеть в боях, он заранее заготовил красноречивые всемилостивейшие манифесты.

Один из подобных манифестов был опубликован в "Монитере" — газете Елисейского дворца. Касался он весьма многочисленных потерь "во славу Франции", понесенных французской армией во время июльско-августовской экспедиции в болотистую Добруджу.

Кем-то был пущен слух, что русская армия, отошедшая от Силистрии на Дунае, скопляется в Добрудже, чтобы отсюда угрожать союзникам, и вот Сент-Арно спешно снарядил две дивизии, и по совершенно не освещенной разведкой болотистой местности двинулись под начальством Канробера brave зуавы.

Сначала они попали под проливные дожди и брели по колено в воде, потом, выйдя из полосы болот, они под палящим солнцем шли по совершенно безводной равнине. От нестерпимой жажды солдаты пили воду из канав, заваленных трупами. Смертность от эпидемических болезней была такова, что целая бригада, видя, что на каждом шагу падает в ней то там, то здесь человек, чтобы никогда не встать больше, — в ужасе бросила ружья и ранцы и рассыпалась, как испуганное стадо.

Наконец, показался какой-то кавалерийский отряд, принятый за русских казаков, началась перестрелка. Но вскоре оказалось, что это не казаки, а турки. Начальник турецкого отряда убедил Канробера вернуться в Варну, так как этот участок совершенно безопасен от русских.

В перестрелке со своими союзниками французы потеряли около тридцати человек, от эпидемии — до десяти тысяч.

Все генералы, подчиненные Сент-Арно, думали, что после этого он будет, наконец, смещен, но он не нужен был в Париже, и дело это закончилось манифестом в "Монитере" и секретной телеграммой Сент-Арно с определенным приказом готовить армию к экспедиции в Крым. Цель войны, наконец, была указана ясно: Севастополь. Приказ (не первый уже) был на этот раз категоричен.

Но эта цель гораздо раньше была известна Раглану, хотя одновременно с Сент-Арно и он получил приказ идти на Севастополь.

Английская армия не истратила ни одного человека на легкомысленный поход в Добруджу. Английская армия была наемная, ее содержание слишком дорого обходилось казне, чтобы швыряться ею. Этим рабочим военного цеха платили по шиллингу в день. Их обязывались хорошо кормить, и обязательство это выполняли. В походе им давали в день по две кружки пива. Солдатские жены, сопровождающие мужей в поход, перевозились на казенный счет.

По сравнению с маленькими французами английские солдаты — англичане ли они были, шотландцы, или рыжие ирландцы — были все очень рослый народ (людей низкого роста не вербовали в войска королевы Виктории), а гвардейские их полки казались полками великанов.

Воевать с русскими войсками им приходилось в первый раз за всю историю Англии и России.

Когда большая союзная эскадра, выйдя из Босфора, подошла 14/26 июля к Севастополю, на ней были и лорд Раглан, и сэр Джордж Броун, и Канробер, и несколько других английских и французских генералов, так что это была не только генеральная, а еще и генеральская рекогносцировка в целях точнейшего изучения Севастополя как крепости и его окрестностей на предмет осады.

Тогда были сосчитаны все орудия береговых батарей, так как маскировать их русские артиллеристы еще не умели, тогда же были обсуждены достоинства и недостатки Балаклавской и Камышевой бухт, и первую наметили себе для стоянки флота англичане, вторую — французы. Тогда же было выбрано и удобнейшее место для высадки десанта километров на двадцать южнее Евпатории, около озер Сакского и Кизилар.

Вечером в тот день эскадра отошла недалеко: заштилело, — парусные линейные корабли никуда не могли уйти. И утром, как раз когда происходила закладка собора, в присутствии всех начальствующих в крепости и городе лиц, эскадра подошла снова.

Она точно хотела показать, как могут работать в полный штиль пароходы, трудолюбиво таща на буксире по два и даже по три парусных корабля.

А на пароходе "Карадок", который крутился около Севастополя почти весь день накануне бала, снова был тот же неутомимый старик Раглан, и Канробер, и Броун, и другой старый английский генерал — Бургоин. Русский флот мог бы выйти из бухты на охоту за дерзким соглядатаем, но невдалеке стояли на страже три больших судна, — между ними и "Агамемнон"...

Все-таки эскадра эта отнюдь не была страшна для всего Черноморского флота, но осторожному Меншикову казалось, что где-то за горизонтом скрываются еще и еще суда, которые быстро придут, заслышав первый же пушечный залп.

Однако никаких неприятельских кораблей не было вблизи Севастополя в этот день. Все остальные суда стояли у Змеиного острова и ждали сигнала к отплытию.

Благополучно вернувшись, Раглан и дал этот сигнал.

II

На линейном стопушечном парусном трехдечном корабле "Город Париж", шедшем на буксире парохода "Наполеон", в просторной, богато обставленной, отделанной тековым деревом каюте, изогнувшись, стоял перед небольшим, экономным окошком, с толстым цельным стеклом, очень исхудалый и потому казавшийся чересчур

длинным маршал Сент-Арно и глядел неотрывно в море.

На кожаном излишне мягком диване, полуутонув в нем, сидела и кормила с блюдечка пышно-пушистую белую ангорскую кошку его жена. У нее была крупная фигура бретонки, зеленовато-серые глаза, светлые волосы, очень свежее тридцатилетнее лицо.

У дверей каюты стоял врач, невысокий толстый лысый человек пожилых лет. Он только что вошел, вызванный из соседней каюты звонком мадам Сент-Арно, и глядел неопределенно-вопросительно на нее, на ангорскую кошку, на блюдечко и на длинного человека без мундира, в одной рубаше, небрежно вправленной в форменные брюки со штрипками, в мягких домашних туфлях.

Этот человек, с такой тонкой морщинистой шеей, с такою узкою спиной, на которой торчали, даже выпирая и из рубашки, как крылья, сухие лопатки, с такими серыми редкими, но тщательно приглаженными щеткой, точно приклеенными к черепу волосами, был его давний пациент, и о состоянии здоровья его у него не было двух мнений.

— Господин Боше, посмотрите, что делает наш маршал! Он совсем выходит у меня из повиновения!

И мадам Сент-Арно почти с ненавистью взглянула на отставленный левый локоть мужа, торчащий в ее сторону, как казачья пика.

— Господин маршал! — сделал два-три шага от двери Боше. — Вам надобно лечь в постель, господин маршал, а не стоять... тем более у окна... Из окна все-таки немного дует, хотя оно и закрыто. Вам необходимо лечь, господин маршал!

— Ах, надоело уж мне лежать! — полуобернулся Сент-Арно.

— Но тогда, может быть, вы сели бы в кресло, господин маршал.

— Ах, надоело это мне тоже — сидеть! — прошипел маршал.

— Но если вы будете стоять так долго, у вас может опять начаться боль в желудке, господин маршал.

— Ах, оставьте вы меня в покое! Идите! — рассерженно обернулся Сент-Арно.

— Я отвечаю перед Францией за ваше здоровье, господин маршал.

— Идите же, идите, идите, когда я вам говорю это!

И Сент-Арно выпрямился и поднял костлявые плечи. Большие от

худобы, черные, с болезненным тусклым блеском глаза стали жестки и, пожалуй, страшны, рыхлый седой правый ус дернулся несколько раз от тика, а рука — тонкая безмясяя рука полумертвеца, величественно поднявшись, указала на дверь.

Боше, наклонив лысую голову, вышел гораздо проворнее, чем вошел. А Сент-Арно, простояв в величественной позе с четверть минуты, как-то сразу всеми костями скелета рухнул в обширное кожаное кресло, такое же топкое, как и диван, и тоже с подушкой, брошенной на спинку.

— Ну вот, начинается качка! — трагически прошипел он.

— Боже мой! Решительно никакой качки!.. Море совсем тихое, и мы точно едем в хорошей коляске по отличной дороге, — пыталась успокоить его мадам Сент-Арно, не отнимая, впрочем, блюдечка от мордочки уже сытой кошки.

Маршал откинул голову на подушку и закрыл глаза. Не открывая глаз, он проговорил вполне отчетливо:

— Десантная операция не удастся, нет!.. Я это предчувствую.

— Надо надеяться на лучшее, — беззаботно отозвалась она. — Я не сомневаюсь, что лорд Раглан знает, что он делает.

— Лорд Раглан?!

Странное действие производит иногда на людей, даже почти умирающих, одно слово. Сент-Арно открыл глаза, вызывающе подбросил седую голову, взялся двумя пальцами за острый подбородок, украшенный острой эспаньолкой, и сказал совершенно уничтожающим тоном:

— Ваш Раглан просто упрямый дикий осел!.. Да! Осел!.. Столько тысяч людей, столько крепких новых судов он ведет на полное истребление! Зачем? Зачем это, я вас спрашиваю?

— Он, конечно, знает это лучше, чем я. Разумеется, он исполняет приказ своего правительства.

— Приказ? Подобный приказ получен и мною от императора, но я... я вам говорил это... получил вместе с приказом и право его не исполнять, если нет шансов на выигрыш... И я высказался против экспедиции.

— Вам вредно говорить много и так волноваться! — заметила она,

однако он продолжал, возвышая голос:

— Я был против, адмирал Гамелен тоже, и этот старый бурдюк — принц Жером — тоже был против... А у них, у англичан, адмирал Дондас, герцог Кембриджский, генерал Бургоин... Все, кто не потерял еще головы, были против. И только этот упрямый однорукий осел настоял на отправке войск!.. Вот мы увидим скоро, ка-кими залпами своих пушек встретит нас Меншиков на берегу! Ведь все это погибнет, — обвел он кругом себя рукой. — Ведь все они пойдут туда, туда... вон туда, в море!

Он несколько раз подряд наклонил бессильную кисть руки с вытянутым указательным пальцем и сам внимательно всматривался в сложный рисунок ковра на полу, точно как раз под ним пенилось море, хотя каюта была на верхней палубе.

— Туда, в пучину, — с разбитыми черепами пойдут они... тысячи... вы представляете? — страшными глазами глядел он на жену, отрывая их с усилием от рисунка ковра.

— Если вы так убеждены в этом, то как же в таком случае мы с вами, — обеспокоенно спросила женщина, отставив, наконец, блюдечко и прижав кошку к груди.

— Мы? Мы ведь будем... высаживаться последними... Это значит, что мы... совсем не будем подходить к берегу... Я прикажу, чтобы наш корабль отвели дальше в море...

И Сент-Арно снова закрыл глаза, далеко вперед вытянул прямые ноги и свесил голову на глубоко впалую грудь.

В это время лорд Раглан прохаживался рядом с генералом Броуном и адмиралом Лайонсом по палубе девяностопушечного корабля "Агамемнон".

Им, трем старикам, конечно, нужен был моцион, но палуба была завалена ящиками необходимого военного груза, и потому для прогулки оставалось очень мало места. Им, трем старикам, из которых самому младшему — Лайонсу — было уже шестьдесят три года, может быть, надо было и вообще отдохнуть от военной службы, но Англия была страной, упорно державшейся правила, что генералами и адмиралами только и могли быть люди, которым перевалило уже за шестьдесят.

Чины генерал-майора, генерал-лейтенанта и маршала так же, как и адмиральские чины, не продавались правительством и не покупались за большие деньги, как это было с остальными офицерскими чинами, а давались за особые заслуги отечеству, поэтому достигали их только в глубокой старости, и средний возраст английских генералов того времени был от шестидесяти двух до семидесяти пяти лет.

Лорд Раглан, главнокомандующий английской армией, разрешил себе ходить в штатском платье. На его широкой голове хорошо сидела жесткая вытянутая спереди назад шляпа формы котелка; серое осеннее пальто было застегнуто, и за борт его закладывал он пустой рукав, а левой рукой при ходьбе опирался на палку.

Плотное, с крупными чертами лицо его было чисто выбрито, глаза в тяжелых мясистых веках внимательно глядели не столько на собеседников, сколько на море впереди и сбоку, и подзорная труба средней величины висела у него на ремне, перекинутом через плечо.

— Все наше предприятие зависит от того, сколько войска успел собрать Меншиков, — говорил сэр Броун, который был несколько выше, но суше и морщинистей Раглана.

— Вы видели ведь с "Карадока", мой друг, сколько сена в стогах собрано там в степи, от Евпатории к северу и к югу? — отозвался ему Раглан. — Я думаю сейчас об этом сене. Все это сено мы должны захватить, когда окончим высадку, и перевезти на корабли на шлюпках. Оно нам очень пригодится потом.

— Да, объемистый фураж лучше всего достать здесь, на месте, — согласился Броун. — Этот хитрый кроат Омер-паша говорил мне, что татары в Крыму пригонят нам сколько угодно баранов из своих степей.

— Да, конечно, если только этих баранов не угнали уже у них казаки Меншикова.

Адмиралу Лайонсу не нужно было сена для его матросов, и он думал не о татарских баранах; он думал о русском флоте, который может отважиться напасть на армаду, и он сказал:

— Французы так перегрузили свои корабли войсками, что они совершенно неспособны к бою. Адмирал Гамелен переложил всю ответственность за успех боя на нас. Не могли заготовить транспортов за такое большое время!

— Зачем вас беспокоит это? — живо отозвался Раглан. — Русский флот едва ли выйдет в море... Я думаю о речке Каче. Туда надо будет направить эскадру в десять — двенадцать пароходов и транспортов пять-шесть пехоты. Это будет демонстрация, чтобы отвлечь внимание Меншикова от места высадки всего десанта. Это мы должны будем сделать раньше, и если в это время будет туман...

— Тумана ждать нельзя, — вставил Лайонс.

— Я хотел сказать: туман или небольшой дождь, чтобы закрыть дальний план, чтобы транспортов и судов казалось с берега больше, чем их будет на самом деле, то этот маневр может дать нам некоторый успех. Я в этом уверен.

— Мы это сделаем. Я сейчас же составлю список паровых судов, которые могут пойти в прикрытие, — почтительно ответил Лайонс.

Этот адмирал искренне и до глубины души ненавидел Россию как конкурента Англии на Востоке, и ему казалось непонятным, что адмирал Дондас упорно пророчил полный провал экспедиции. Впрочем, он объяснял это тем, что почти семидесятилетний Дондас стал уже плох здоровьем. Он надеялся на то, что Дондаса во время кампании правительство отзовет в Англию на покой, и его, Лайонса, назначит командующим всеми силами английского флота на Черном море.

— Герцог Веллингтон, наш общий учитель, — улыбаясь, сказал Раглану Броун, — говорил не раз, как вы сами, конечно, помните: "Не начинай боя, не выяснив сначала силы врага".

— Золотое правило! — качнул шляпой Раглан. — Аксиома стратегии. И мы с вами сделали для этого все, что могли сделать с моря. Если же ждет нас катастрофа у берегов Крыма, то должен сказать вам, мой друг, что ответственность за нее уже заранее взяло на себя наше правительство. Так что на этот счет мы с вами можем быть совершенно спокойны. Ответственность за полный неуспех, что нам предсказывает герцог Кембриджский, берет на себя совет министров и сама королева. Сэр Броун знал, конечно, что королева Виктория была или хотела быть самой воинственной дамой во всей тогдашней Европе. Когда отправлялись эскадры в Черное и Балтийское моря, она сама выезжала их провожать на своей королевской яхте. Матросы,

взобравшись на реи, кричали ей "ура", орудия на судах салютовали ей двадцатью одним выстрелом, и в грохоте выстрелов, и в криках, и в пороховом дыму на палубе своей яхты она воинственно махала платком отплывающим офицерам и матросам. И суда величественно проходили мимо яхты и, оставляя за собой клубящиеся белые хвосты на море и дым в воздухе, скрывались одно за другим, а королева все махала им вслед платком, точно твердо была убеждена в том, что этот магический жест, повторенный две тысячи раз, принесет неслыханную удачу британскому флоту.

И когда отправлялась на Восток кавалерия, самая блестящая кавалерия в мире по красоте и чистопородности коней, и когда отправлялась пехота, снабженная самыми лучшими нарезными ружьями, — королева Виктория безотлагательно, во всякую погоду появлялась на их проводах, взволнованная жала руки и сэру Броуну, и сэру Бургоину, и лорду Кардигану, и лорду Кодрингтону, и особенно крепко единственную левую руку лорда Раглана, на которого возлагала прочные надежды, и в прекрасных северных глазах ее, цвета британского неба, когда в очень редкие, правда, дни бывает оно совершенно ясным, стояли слезы. Но это были не слезы вполне простительной женской слабости — это были слезы воинственного экстаза.

Иногда, впрочем, когда она проезжала в открытой коляске по улицам Лондона рядом со своим супругом, принцем Альбертом, в уличной толпе раздавались свистки и громкая ругань и даже крики: "Долой!" Но королева знала, что все это относится не к ней лично, а только к ее супругу. Это проявление народного недовольства ее не тревожило.

III

Турецкий военный флот был мал и плох; египетский тоже; но турецкие сухопутные войска показались английским и французским генералам еще хуже, а египетские — просто какой-то ордой оборванцев, не имеющих понятия о дисциплине.

Однако в армаде, составляя особый отряд, шли и турецкие и египетские суда с войсками: Раглан и Сент-Арно решили, что египтяне там, в Крыму, при осаде Севастополя, годятся как рабочие: будут рыть

траншеи, подносить к бастионам мешки и плетенки с землей, переставлять орудия... Плохие солдаты, они имели достаточно сноровки в тяжелом труде. Для земляных работ взяли также и тысячу болгарских крестьян с их лопатами и кирками. Турецких лошадей тоже было много на транспортах, так как перевозка морем каждой лошади из Франции обходилась в восемьсот франков.

Для перевозки лошадей и орудий транспорты делались с двойным дном.

Французы не взяли своей кавалерии, твердо решив, что она не будет нужна в Крыму. Но всадники на чистопородных конях, по мнению Раглана, могли понадобиться для преследования казаков Меншикова, поэтому на английские транспорты была посажена дивизия конницы.

Всех подозрительных по холере, конечно, оставили на Змеином острове, но холера не отстала все-таки, — она погналась за армадой.

На военных и на купеческих судах, зафрахтованных под транспорты на палубах и в трюмах кораблей, везде, куда набили солдат, они сидели или лежали очень плотно, как плывут косяки рыбы. Иные спали, иные пили запасенное на берегу вино, иные играли в домино или карты, но все беспокойно вглядывались один в другого — не начинается ли у кого эта страшная болезнь.

И часто то здесь, то там бок о бок с здоровыми начинали корчиться больные.

А суда шли и шли по намеченному курсу, соблюдая тот порядок, в котором они снялись с места и в котором получили приказ прийти.

Впереди шли линейные английские суда, свободные от войск, и все паровые, на случаи встречи с, русской эскадрой. За ними военные пароходы, буксирующие транспорты с войсками. Справа и слева — в кильватерных колоннах суда соединенного флота. Непосредственно за линейными кораблями шла легкая пехотная дивизия сэра Броуна, которая должна была высадиться первой, и дивизии французской пехоты, под командою боевого генерала Боске. Вслед за ними, соблюдая определенные интервалы, двигались другие войска.

Ночью на буксирных пароходах приказано было вывесить на бизань-мачтах огни и чтобы число этих огней равнялось номеру дивизии, к какой принадлежали пароходы, так что порядок движения не

нарушался и ночью.

Суда, перевозившие артиллерию, были украшены внушительных размеров буквою А на обоих бортах, суда с пехотой — буквою В, суда с кавалерией — буквой С.

Множество баркасов, полубаркасов, шлюпок, флашкоутов и кожуховых ботов было припасено на всех судах для высадки войск. На каждый баркас и шлюпку большой величины назначен был особый лейтенант или мичман для управления ими при высадке. Все до последних мелочей было предусмотрено и включено в длиннейшие инструкции всем родам войск.

Главным же образом предусматривалось то, что на месте, облюбованном для высадки, на плоском песчаном берегу, серьезными, строгими рядами будут установлены по приказу Меншикова батареи, а дальше за ними будет торчать целый лес казачьих пик.

Поэтому, когда вечером 12 сентября показались, наконец, западные плоские берега Крыма, тысячи подзорных труб и биноклей встревоженно поднялись к глазам офицеров-союзников, чтобы разглядеть батареи.

Курс эскадры был взят безупречно правильно. На берегу на узкой полоске суши раскинулись два озера, как это и ожидалось. Вечер был безоблачный, теплый, такой же, как и накануне, когда отплывала от острова армада. Озера при последних лучах солнца розово блестели, как два больших зеркала овальной формы, и это было красиво. Но тщетно шарили глаза, отыскивая батареи на берегу, их не было видно. А вместо целого леса казачьих пик, когда эскадра подошла ближе, разглядели всего только шестерых казаков, причем один из них был, без сомнения, офицер, но почему-то во флотской форме. Лошади были небольшие, сухопарые, разных мастей. Офицер, по-видимому, наблюдал подход эскадры и десанта, но ни подзорной трубы, ни бинокля не было у него в руках. Он сидел на лошади совершенно спокойно и что-то записывал в блокнот.

Паровые линейные суда, шедшие впереди, — между ними и "Агамемнон", описав полукруг, повернулись правым бортом к берегу и сняли чехлы с орудий, приготовясь на залп русских пушек, где-то скрытых так искусно, что их нельзя даже и предположительно

разглядеть в подзорные трубы большой силы, ответить сосредоточенным залпом нескольких сот орудий. От судов до берега было не больше восьмисот метров. Но залпа русских батарей не раздавалось, и Раглан, несколько даже недоуменно пожевав по-стариковски губами, сказал Броуну:

— Кажется, это и все, что нашел нужным князь Меншиков выслать нам навстречу: шестеро кавалеристов.

Броун улыбнулся, отвечая:

— Я не назвал бы эту встречу очень торжественной. Мы, конечно, заслуживали большего... Впрочем, судя по этому, отказать Меншикову в джентльменстве нельзя: согласитесь, что всякая другая, более торжественная встреча была бы признаком дурного тона.

— Погодите, мой друг, не ликуйте! — взял его за локоть Раглан. — Солнце уже садится; пока подойдут все транспорты, будет темно. В темноте же высадки мы, конечно, не будем делать, а за ночь эта приятная картина пустого берега очень может измениться к худшему... Эти шестеро, конечно, пикет. Такие же пикеты, должно быть, расставлены по всему берегу. Что стоит за ночь подвезти батареи из Севастополя и прислать несколько казачьих полков?.. Хотя, разумеется, это уж не так страшно.

— Судовые орудия заставят эти батареи убраться, а казаки способны только добивать раненых и обирать убитых, — сказал Броун. — Но офицер этот в морской форме все-таки рассыпал своих людей: он вне ружейного выстрела, значит, боится, что мы пустим в него гранату... Нет, мы не так щедры.

Офицер в морской форме был лейтенант Стеценко, и он действительно послан был непосредственно самим Меншиковым наблюдать подход десанта и высадку на берег и сообщать ему то, что найдет нужным сообщить через казаков, которые были с ним; при этом Стеценко получил несколько пакетов, на которых было напечатано: "По приказанию Главнокомандующего..." Казаки, конечно, рассыпаны были по всему берегу, и донесения должны были передаваться без малейших задержек.

Когда с линейных кораблей загремели якорные цепи, Стеценко написал в донесении: "Боевая эскадра стала на якорь южнее

Евпатории против двух озер. Транспорты с войсками подходят на буксире пароходов и готовятся к высадке".

Но стало темнеть, и стемнело очень быстро, — высадка не начиналась, и лейтенант послал новое донесение, что, по-видимому, она отложена на утро.

Стеценко был послан из Севастополя часов в двенадцать, за целый день ничего не ел, но зрелище, которое было перед ним, захватило его настолько, что он забыл об еде, забыл об отдыхе.

Слегка колыхавшийся на слабой волне этот город судов с населением не менее как в сто тысяч человек расположился у берега правильными кварталами. Когда совершенно стемнело, зажглись огни на бизань-мачтах буксирных пароходов, точно фонари на улицах, потом какие-то сигналы передавались ракетами и фалшфейерами. Войска спали, но вахтенные принимали и передавали сигналы, неусыпно работала чья-то враждебная, злая мысль. Стеценко представил, как к этим скученно стоящим транспортам под покровом ночи пробираются русские брандеры. Донесение о возможности произвести большой переполох во вражеском флоте он послал еще засветло Корнилову, когда для него стало ясно, что высадка отложена на утро. И теперь, отъехав от берега на такое место, где могли бы пастись спутанные лошади, он жадно наблюдал за темными силуэтами судов в море. Но стрельба не открывалась, — брандеры не подошли, значит. Почему? Он не мог понять.

Эта ночь, проведенная на берегу моря в виду несметной силы врагов, была невозможна для сна, хотя трем из пяти казаков, бывших при нем, он разрешил спать, и они улеглись в сухой траве рядом с ним, двое на всякий случай сидели впереди, в секрете.

Он чувствовал всю великую историчность этой ночи.

Несмотря на внешнее спокойствие, он был впечатлителен, впрочем, и не нужно было иметь слишком живого воображения, чтобы представить, как, совершенно беспрепятственно высадившись на берег, покатится к Севастополю эта страшная лавина войск.

Ему было уже за тридцать, но продвижение по службе во флоте шло медленно, командиры судов, начиная с капитан-лейтенантов, плотно держались на своих местах. Стеценко поручено было ведать юнкерами

морского ведомства, и он не знал, что будет с его питомцами в случае осады города, хотя Корнилов сказал, что теперь не до детей, что их лучше вывезти вон из Севастополя, чтобы не нести ответственность за их жизнь и здоровье перед их родными.

Отослав засветло донесение, что больших судов, стоявших спереди, он насчитал сто шесть, а остальные, ввиду захода солнца и дальности расстояния, слились в одну общую массу, и что фронт судов по глазомеру не меньше как девять морских миль, Стеценко понимал, конечно, что сведений этих слишком мало, однако он не думал, что и утром их будет больше: как можно было сосчитать войска, по фронту в девять миль, выходящие на берёг? И кто допустит его стоять на берегу и считать?

Воспитанный как моряк Черноморским флотом, он привык относиться к нему с уважением. Он любил морскую службу, как любил и море, какие бы штормы ни подымали на нем норд-ост, норд-вест или бора — северный и самый лютый ветер. Он твердо верил в то, — да это можно было прочесть перед объявлением войны и в статьях "Таймса", — что Черноморский флот представлял из себя лучшую морскую силу в мире и по размерам и по качеству судов и артиллерии на них и, самое главное, по составу команд. Он знал, что на крупнейших из судов вся нижняя батарея состояла из бомбовых 68-фунтовых пушек, чего не имели даже и англичане. Когда не плавал сам, он часами мог любоваться огромными кораблями, которые все маневры в море исполняли с такою же легкостью и быстротою, как мелкие суда. Однако и малейшая погрешность кого-либо из его товарищей резала глаз как ему, так и другим морякам, и не было судей в служебном отношении более строгих, чем та же морская молодежь. Севастополь был слишком отрезан от остальной России того времени, чтобы моряки его не спаялись в очень дружную семью. У них было и еще одно могучее средство спайки: чувство своей явной необходимости для государства.

Не в пример Балтийскому флоту, стоявшему безмятежно в Кронштадте, не тревожимому даже и теперь английским адмиралом Непиром, Черноморский флот, начиная с первой при Николае турецкой войны, все время был в состоянии военных тревог, то перевоза войска к так

называемой "Береговой линии", то есть к русским фортам, раскинутым по всему западному побережью Кавказа, то охотясь за турецкой контрабандой, идущей на Кавказ, то блокируя турецкие порты в случае войн, то, наконец, нанося турецкому флоту такие сильные удары, как при Наварине и Синопе.

Это сознание своей необходимости развило в каждом моряке и чувство собственного достоинства и готовность к решению любой ответственной задачи и жертве собою.

Черноморский флот был ясен насквозь и не мог не быть ясен: на него смотрели в тысячу оценивающих глаз товарищи офицеры, на него смотрели в десятки тысяч недоверчивых глаз матросы, на него наведены были, наконец, неусыпные подзорные трубы двух образцовых флагманов флота — Нахимова и Корнилова, и от этих все замечающих труб нигде нельзя было укрыться на рейде.

Историчность этой ночи действовала и подавляюще и возвышающе. Уходило вниз, смятенно сдавливалось, сплющивалось, сморщивалось свое личное, но взмывало кверху, росло, ощутительно и грозно колыхалось уже около то, что вот-вот завтра-послезавтра начнут делать сотни тысяч людей здесь, в Крыму, — миллионы людей в России и в Европе.

Если до этой ночи только готовились, то с этой ночи неудержимо начнут стремиться к тому, чтобы доказать русскому царю, что он не смеет рассчитывать на "ключи от вифлеемской церкви" и для доказательства убивать тысячи, десятки, а может быть, и сотни тысяч его подданных из усовершенствованных орудий.

Лейтенант Стеценко не был в бою при Синопе, но он был офицер, то есть с детства, с кадетского корпуса, готовился воевать.

Во время экспедиции флота на Кавказ, при перевозке десанта, ему даже приходилось командовать на одном мелком судне обстрелом берегов. Но обстрел этот производился по принятому на Кавказе обычаю перед высадкой пугать горцев: хотя их и не было видно, они всегда предполагались около каждого русского укрепления, где-то там, в лесистых горах.

Но несколько месяцев назад все эти укрепления, стоившие много денег и жертв, принесенных не столько "кровожадности" горцев,

сколько кавказской лихорадке, взорвали, и гарнизоны их в количестве пяти тысяч человек вывезли в Крым, чтобы они не стали добычей союзников.

В этой довольно смелой операции, так как союзный флот блокировал уже русские порты, участвовал также и Стеценко.

Но в этих мелких делах все было буднично. Огромная же историческая драма, тщательно подготовленная к постановке искусными режиссерами Запада, начиналась только теперь. Пока зал еще пуст, темно, черный занавес опущен и скрывает лицедеев... Он подыметсЯ утром, с восходом солнца, и первое действие драмы начнется.

IV

Возможно, что соединенный флот тоже опасался ночью нападения русских брандеров, и все эти фалшфейеры и ракеты зажглись только затем, чтобы расшевелить внимание вахтенных, потому что к утру, когда чуть начали белеть небо и море, — Стеценко отметил это в своей записной книжке, — напряжение ожидания улеглось, и в приплывшей крепости было тихо, как бывает в полях перед грозой.

Но рассветало быстро, и вот по сигналу все там пришло в движение: застучали цепи отдаваемых якорей, слышны стали оттуда и отсюда стуки от приколачивания навесных трапов, наконец стали доноситься и выкрики команд. Замелькали здесь и там спускаемые на воду шлюпки, палубы покрывались густыми толпами солдат с ружьями и ранцами.

Можно было отлично разглядеть даже и лица на ближайших судах: так стало светло и так близки были суда. Утро было тихое-тихое, море гладкое-гладкое, и даже как-то больно стало Стеценко, что так радушно встречает крымский берег таких гостей.

Между озерами, из которых южное было гораздо меньше, расстояние было в две-три версты. Против южного озера стояли французы, они первые начали высадку по приказу Сент-Арно, который вдруг неузнаваемо ожил, когда узнал, что на берегу нигде не видно никаких русских батарей.

По свойственной ему склонности ко всему театральному, он приказал оркестрам играть, и под музыку, плавно, в большом порядке

двинулись к берегу шлюпки, блюдя указанные в инструкции интервалы одна от другой.

Не больше как в двадцать минут на берегу была уже целая бригада французов. Сент-Арно приказал перевезти на берег и себя, но он смертельно боялся трапа, и один дюжий матрос снес его на руках с палубы в шлюпку. Удостоверясь, что на берегу ей никакой опасности не угрожает, в ту же шлюпку спустилась и мадам Сент-Арно.

Она, конечно, узнала прежде, что "Наполеон" с его очень удобной каютой главнокомандующего будет сопровождать войско, когда оно двинется вдоль берега к Севастополю. Изумительную ангорскую кошку она оставила под присмотром своей компаньонки, бывшей в соседней каюте.

Эта экспедиция, к которой столько готовились и которой многие так опасались, оказалась пока что просто приятной прогулкой. Русские, очевидно, бежали в испуге; впрочем, если бы началась серьезная стрельба, мадам Сент-Арно обещали тут же перевезти на корабль, так как рисковать своею жизнью она не хотела.

Берег крымской земли был здесь, правда, плоский и не очень живописный, но все-таки это была твердая земля, на которую приятно было ступить после долгого плавания по зыбкому морю; кроме того, это был первый кусок русской земли, занятый доблестной армией ее мужа.

В одну шлюпку со своим пациентом сел, конечно, и доктор Боше. Звонко и величественно играли оркестры, и у маршала был такой вид, вдохновенный и напряженный, как будто он дирижировал сам всеми ими.

Когда он вышел на берег, он старался держаться бодро и даже сказал немногословную, правда, но зато очень патетическую речь выстроившимся на берегу частям. Конечно, ее расслышали только передние шеренги ближайших рот, но все с большим подъемом кричали "vivat".

Стеценко со своими казаками, которых осталось при нем только три, так как двух он послал одного за другим с донесениями, что высадка началась, стоял против английских линейных судов и транспортов и отметил, что в противоположность французам англичане отправили

свои шлюпки без всякой помпы. Они твердо соблюдали инструкцию для высадки, первое правило которой предписывало подходить к неприятельскому берегу в строжайшем молчании.

Деловито и без лишней суетливости подымались и опускались весла шлюпок, и, к немалому удивлению своему, заметил Стеценко, что из первой шлюпки, мягко врезавшейся в песчаный низкий берег, вышли два генерала.

Это были — генерал-квартирмейстер Эри и сэр Джордж Броун, так как его легкая пехотная дивизия по расписанию должна была высадиться прежде других.

— Ваше благородие, зараз тикать надо, а то не втечем, — встревоженно обратился к нему пожилой казак с серебряной серьгой в левом ухе; и двое других казаков вопросительно перегнулись к нему над луками седел.

Поджарые лошадки переступали ногами и кивали головами едва ли приветственно, скорее беспокойно, но Стеценко ничего не ответил казаку с серьгой, хотя генералы высадились от него не более как в трехстах шагах.

Можно было подумать о нем со стороны, что, как Плиний, наблюдавший извержение Везувия, он просто забыл всякую предосторожность, но можно было принять его и за парламентаря, пренебрегшего общепринятым обычаем прицепить куда-нибудь белый платок.

Стеценко же надеялся только на то, что от пеших они — четверо конных — всегда могут ускакать, когда придет крайность, пока же не хотелось ему показывать англичанам тыл, не высмотрев всего, что можно.

— Этот русский офицер очень загадочен! — улыбнулся сэр Джордж и сделал несколько шагов по песку в направлении к Стеценко, но встревоженный Эри крикнул фюзилерам, высадившимся вместе с ними:

— Обстрелять казаков!

И тогда на крымской земле раздались первые выстрелы десантной армии союзников, но выстрелы эти были выше цели, так как между стрелками и русскими конниками стоял сэр Джордж.

Стеценко, поворачивая своего серого и давая ему шпоры, слышал, как пропели пули над его головой. Казаки вслед за ним пустили коней в карьер и рассыпались в промежутках между озерами. Проскакав с версту, лейтенант думал было остановиться, чтобы продолжать наблюдения за высадкой, но казаки указали ему, как, огибая южное озеро, наперерез бежали толпой красноголовые зуавы, стреляя беспорядочно и ненужно и что-то крича, а впереди них мчались в охотничьем азарте две вислоухих собаки средней величины, рыжей шерсти.

Пришлось проскакать гораздо дальше, на дорогу, ведущую в Севастополь, откуда ничего уже не было видно.

Этот совершенно незначительный эпизод был всячески приукрашен корреспондентами французских и английских газет. Они писали, что казаки, бывшие под начальством одного морского офицера, едва не захватили в плен генерал-квартирмейстера Эри и увлекающегося военными подвигами, несмотря на свой почтенный возраст, сэра Джорджа.

Когда Стеценко выехал на дорогу, он заметил сзади, далеко от себя, кавалькаду татар, в низеньких, круглых черных шапках и в цветных жилетах, больше малиновых и ярко-желтых, а впереди других заметил седобородого в зеленой чалме муллу или хаджи, побывавшего в Мекке. Они ехали по направлению от Евпатории в тот самый промежуток между озерами, из которого только что выбрался он. На гривах их иноходцев что-то белелось. И он догадался, что это делегация от местных татар к главнокомандующим союзными армиями.

А дальше встретился целый обоз скрипучих татарских арб: на волах и буйволах везли толстые дубовые бревна, прикрученные веревками.

— Так это ж они, ваше благородие, до хранцуза дрова тянут! — очень оживился казак с серьгой.

И двое других подхватили:

— А известно, до хранцуза!.. А то до англичанов.

А посланный с донесением рано утром и теперь возвращавшийся четвертый казак, — малый еще молодой и бойкий, — слышно было, кричал начальственно, показавшись из-за последней подводы:

— Ты что мне заладил одно: "Бельмес — не!" Ты мне по-русскому отвечай: куда дрова везете?

— Волы эти так что в казанки пойдут, а дрова под казанки, ваше благородие, — вот хранцузам и обед будет, — соображал вслух казак с серьгой.

Стеценко остановил переднюю подводку. Татары — их было человек восемь, все бородатые и пожилые — глядели на него не испуганно, напротив, недовольно и, как ему казалось, даже зло. Он пытался втолковать им, что куда бы они ни везли дрова в ту сторону, — там теперь везде неприятель, который отнимет у них и волов, и дрова, и арбы, но татары, только разводили руками, вопросительно глядели один на другого, бормотали что-то по-своему, и нельзя было определить, действительно ли не понимают они ничего по-русски, или не желают уж больше ничего понимать, раз пришли в Крым единоверцы их — турки.

Стеценко приказал было двум казакам спешиться и повернуть быков обратно. Подводы повернули, и казаки погнали было быков назад, но это отняло много времени и грозило отнять еще больше, а между тем надо было спешить с донесением к светлейшему. Поэтому татарам только погрозили нагайками, но бросили их и помчались рысью по дороге.

Было уже не рано — свыше десяти часов, когда впереди показался большой конный отряд.

— Наш полк идет! — повернули к Стеценко радостные лица казаки, но Стеценко и сам разглядел, что это, так же деловую рысью, как и они, движется казачий полк, но зачем именно движется, он не понял.

Он вдруг именно теперь почувствовал, что очень устал, проведя почти сутки без привычки в седле, что хочет есть, а главное — пить, так как день выдался жаркий.

Рядом с командиром казачьего полка Тациным Стеценко, к удивлению своему, разглядел Меншикова-сына. Молодой генерал-майор сидел на рослом гнедом белоногом донце, не по-казачьи, то есть с наклоном вперед, а по-гусарски — прямо.

Темноволосый и черноусый, он был похож чем-то неуловимым на своего седого отца, кроме такого же большого роста, и Стеценко,

подъезжая к нему, думал: "Вот таким именно был, очевидно, наш главнокомандующий, когда брал Анапу... Но было бы гораздо лучше для Севастополя и России, если бы так же молод был он теперь!"

Стеценко знал о Меншикове-сыне то же, что знали все в Севастополе: что при внешнем сходстве с отцом он все-таки не пошел в отца. Конечно, он был хорошо воспитан и образован, но очень пуст, хлыщеват и неумен, как это бывает, впрочем, со многими детьми гораздо более выдающихся отцов, чем старый Меншиков.

Стеценко подъехал с мыслью о рапорте, однако, заметив это и не дав ему начать рапорта, молодой генерал приветливо протянул ему длинную руку, заговорив сам:

— Ну, что там, как? Вы там близко были, что?

— Нельзя уж было близко держаться, ваша светлость, — пришлось убраться, — обстреляли и думали даже отрезать и забрать.

— Ну, вот видите как!.. Да... Обстреляли? Но с далекой дистанции?

— Никак нет, — пули пролетели над головой.

— Ну, вот, над головой! Значит, вы очень близко стояли и все видели. Кавалерию выгрузили?

— Я видел только пехоту, ваша светлость, но в большом числе. Высадку они ведут в большом порядке и очень быстро.

— Быстро, да? Ну, вот, а генерал Жомини в академии доказывал, что большой десант невозможен! Были бы транспорты, а? Не так ли?

Так как в это время он вопросительно глядел не на лейтенанта, а на Тацина, тот, страдавший, насколько мог заметить Стеценко, от узкого ворота рубахи, сдавившего ему шею, повел в сторону багровым лицом с красными глазами и росинками пота на широком носу и ответил хрипло, приложив к козырьку руку:

— Ничего нет невозможного для них, ваша светлость, при их известном богатстве.

Стеценко видел, что в его личном рапорте Меншикову-отцу теперь как будто не было уже нужды, если о высадке десанта всё на месте и, наверное, гораздо больше, чем он, может разузнать Меншиков-сын, который даже как будто замещал здесь самого отца, поэтому пришлось поневоле остаться, держаться как бы в его свите и забыть на долгое, может быть, время еще об отдыхе и обеде.

Высадка между тем шла дальше не так уже гладко, как началась. Подул ветер: на море забелели барашки, с запада надвигалась сплошная густая и темная туча.

Французский генерал Боске, человек далеко еще не старый, в избытке наделенный галльским остроумием и энергией, почерпнувший большой военный опыт в колониальных странах, приказал ввиду этой тучи для своей дивизии, высаженной первой, перевезти и палатки.

Его примеру последовали и другие французские генералы. В английской же армии правила высадки выполнялись строго. Там не спеша перевозили... дивизию за дивизией, пехоту, но вместе с пехотой переправлялась и причисленная к ней артиллерия, а это отняло много времени. Кавалерия же и палатки по правилам высадки стояли на последних местах.

Между тем в полдень хлынул ливень.

Часть французской пехоты, посланная как раз в это время, когда явился донской полк с Меншиковым-сыном, занять татарскую деревню Контуган, спаслась от ливня в этой деревне; донской полк поспешно передвинулся в другую деревню, километрах в пяти от Контугана; французские войска, оставшиеся на берегу, быстро разбили бивак и натянули палатки, англичане же остались под открытым небом и свирепым ливнем.

Перевезено было уже до двадцати тысяч человек. При сильном западном ветре, под хлещущими косыми потоками дождя, кутаясь в одеяла, насквозь промокшие, около часа стойчески выдерживали ливень и старые генералы и молодые лорды на земле, которую явились они приобщить к числу британских владений, может быть, до заключения мира, может быть, навсегда.

Но вместе с ними промокли до последней нитки и "дети королевы Виктории", двадцать тысяч бравых "Томми", оценивших все свои силы и способности в единственный шиллинг в день до того момента, когда убьют и когда даже и этот шиллинг вместе с двумя кружками пива в походе будут уже совершенно ненужны.

Ливень утих к двум часам дня, и высадка продолжалась, но палатки все-таки не были доставлены на берег, а с вечера дождь, доходящий до силы ливня, зарядил на всю ночь, и утром полторы тысячи больных

свезено было на пароход "Кенгуру", чтобы отправить их в госпитали в Константинополь.

Впрочем, не все больные были перевезены на "Кенгуру", иначе этот пароход был бы перегружен так, что не смог бы сдвинуться с места. Многие валялись на берегу в грязи без всякой помощи со стороны врачей, так как врачи были тоже люди, и не заболевших среди них осталось мало.

Несколько человек офицеров умерло от холеры.

Только 3/15 сентября перевезли на берег кавалерию.

Дорогие лошади очень пострадали от тесноты и недосмотра за те две недели, какие пришлось им пробывать на кораблях, а при перевозке на берег несколько из них потонуло.

Напуганные первым ливнем, Сент-Арно с женою были перевезены снова на корабль "Наполеон". Однако там, в роскошной и спокойной каюте, несмотря на дождь кругом, приподнятое настроение вернулось к маршалу Франции. Он говорил жене:

— И я, и генерал Канробер, и генерал Мартенпре, и многие другие генералы — мы все стояли за то, чтобы или высадиться в Керчи, на восточном берегу Крыма, или отложить экспедицию до весны будущего года. Но посмотрите-ка, какая удача нас ожидала даже и на этом, западном, берегу! Кто же знал, что русские, как утверждает Боске, совсем не желают с нами сражаться!

Начальник штаба Сент-Арно полковник Трошю и военный секретарь Раглана Стиль были посланы с переводчиком Кальвертом в Евпаторию с требованием немедленно сдать город. Так как весь гарнизон Евпатории успел уже выйти, их привели к старенькому чиновнику, начальнику карантинной стражи, состоящей из нескольких инвалидов. Письменное требование о сдаче города было передано ему. Никакого языка, кроме русского, он не знал, но бумагу, полученную из рук полковника Трошю, тут же деятельно проколол булавкой не менее чем в двадцати местах и окурив. Когда Кальверт, по-русски говоривший очень плохо, кое-как растолковал ему, что пришла масса кораблей, до отказа набитых войсками, затем, чтобы высадиться в Крыму, старичок подумал и ответил:

— Высадиться, отчего же-с, высаживаться на берег не воспрещается.

Только, господа, в видах эпидемии холерной, не иначе, как приказано от начальства, высаживаться непременно в карантин и выдержать там положенный четырнадцатидневный срок.

В Евпатории высадились два небольших отряда — французский и турецкий — и принялись обшаривать город. На частных складах у хлебных экспортеров-греков найдено было около шестидесяти тысяч четвертей, то есть до полумиллиона пудов пшеницы, что явилось совершенно неожиданным, но очень крупным подарком союзникам, на несколько месяцев обеспечив их хлебом.

Кроме того, под Евпаторией перехвачено было парусное судно, шедшее из Генуэзска в Севастополь с восемью тысячами ведер спирта для нужд гарнизона. Это был тоже очень ценный приз. На судне этом никто не знал, конечно, о том, что враги пришли, и с недоумением глядели на то, как они хозяйничали в трюме, считали и метили бочки. Между тем недоумение было уже излишним. Если в Галлиполи и Скутари французские войска, привыкшие в Алжире расправляться с деревнями кабиллов, только еще пытались вести себя как завоеватели, то береговая полоса Евпаторийского уезда считалась уже вполне завоеванной ими, хотя и без боя, и в деревне Контуган, как и в других соседних деревнях, занятых ими на другой день, они резали и свежевали для своих котлов буйволов, телят, баранов, кур, а на костры, на которых варили и жарили это, разбирали незатейливые плетневые хлева и сараи, отбирали сплошь муку, крупу, овощи, фрукты, заготовленные на зиму, заставляли запрягать в арбы лошадей и волов и на арбы складывали сено, овес, ячмень, скопом насиловали женщин...

Лишенные всего, татары толпами бежали в Евпаторию, в которой, как они слышали, вводилась уже турецкая власть.

Высадка союзных войск, проведенная так сказочно беспрепятственно, и спокойно, точно на маневрах, закончилась только к вечеру на третий день.

Крылатую фразу, брошенную генералом Боске: "Эти русские совсем не желают с нами сражаться!" — повторяли теперь уже рядовые солдаты. Погода снова стала прекрасной, как и в день прибытия к русским берегам, но при видимом изобилии воды в озерах оказался острый

недостаток воды для питья: озера эти были просто клочки моря, отрезанные песками.

Пресную воду, правда, привезли с собою в анкерках на судах — турецкую воду как турецкую землю в мешках для бастионов, но анкерки быстро опустели. Лошади целые сутки простояли совсем без поила.

И шестидесятитысячная десантная армия двинулась к югу, к речке Алме, Бельбеку и Каче, гонимая не только воинственным пылом скорее дойти до Севастополя и взять его, но еще и жаждой.

Действительно, такого скопления людей и лошадей нигде в своей степной части не мог напоить Крым.

Когда лейтенант Стеценко, проведя — теперь уже с целым донским полком — еще одну ночь вблизи союзников, вернулся, наконец, в Севастополь, он узнал, что главнокомандующий вывел из города войска для боя с надвигающимся противником на облюбованной уже им позиции на берегу речки Алмы.

Глава третья. Потревоженный муравейник

I

В небольшой гостиной довольно скромного дома на Малой Офицерской улице, которую, точно по приказу начальства, заселяли все больше отставные военные, 5/17 сентября днем сидел с семьей хозяина дома, отставного капитана 2-го ранга Зарубина, унтер-офицер рабочего флотского батальона Ипполит Матвеевич Дебу. В семье Зарубиных, где он жил на квартире, знали, что он выслан сюда, в знак особой монаршей милости, в солдаты до выслуги в первый офицерский чин, что он, человек хорошо образованный, дает уроки детям адмирала Станюковича, что он принят в лучших домах города, но почти совсем не бывает в том батальоне, к которому причислен, что ему снисходительно разрешено даже носить штатское платье, в котором он был и теперь.

Но сам Дебу только сегодня утром узнал, что его положение очень круто изменилось, так как у Станюковича ему сказали, что вся семья,

за исключением самого адмирала, уже укладывается, собираясь уезжать в Николаев, а из канцелярии батальона прислали к нему солдата-писаря с приказом явиться в казармы полка и быть отныне в них безотлучно ввиду "скоровозможных боевых действий".

Что боевые действия действительно "скоровозможны", это, конечно, знал и сам Дебу, но боевые действия вообще представлялись ему довольно отдаленно и смутно. Он был разжалован военным судом не из офицеров, а из чиновников одного из петербургских департаментов как петрашевец. Наказан он был сравнительно со многими другими, между прочим и со своим старшим братом, довольно легко: всего только двумя годами арестантских рот, но возможность после арестантских рот выслужиться в офицеры в те времена действительно считалась "особой милостью монарха".

Со времени суда над ним прошло уже почти пять лет; тогда ему было всего двадцать пять лет, но теперь он казался гораздо старше тридцати: как бы ни были легки наказания, они все-таки сильно меняют человека.

В обществе считался он очень осведомленным в разных вопросах и остроумным собеседником, но улыбался он редко и бегло — на момент. А внешность его была подкупающей по той постоянной серьезности, которая светилась и в его пристально и прямо глядящих на каждого глазах, казавшихся черными в тени, но на свету неожиданно голубевших, и в прекрасно сработанной голове, и в правильных чертах лица, и в той неуловимо свободной манере держаться, которой так трудно научиться, если она не присуща человеку, и которую нельзя было изменить в нем даже таким бесспорно сильным средством, как два года арестантских рот.

Негромким грудным голосом он говорил, по-своему пристально глядя в глаза капитана:

— Для того чтобы на тебя не вздумали напасть, нужно только одно: чтобы тебя боялись. Не так ли?.. Но ведь, кажется, наш император делал все для того, чтобы его боялись, однако же на нас вот напали и, нужно сказать, напали нагло и очень открыто. Это значит, что совершенно перестали бояться.

— И эти напавшие... напавшие... они... они будут истреблены! Да!

Истреблены бе... без остатка! — с большим усилием, но азартно выкрикнул капитан и стукнул раза три палкою в пол. — Им не дадут сделать... эту... эту... обратную амбаркацию... амбаркацию... на ихние корабли! Нет! Не дадут! — и еще раз стукнул, точно приложил казенную печать на горячий сургуч.

Капитан Зарубин был красен тощей жилистой шеей и бледен лицом, выкаченные раскосые глаза глядели свирепо, полуседая щетина на голове стояла дыбом, полуседая щетина на щеках и подбородке придавала ему воинственный вид.

В Синопском бою он был ранен в ногу и контужен в голову и левое плечо, левая рука висела плетью, голова дергалась, язык плохо повиновался мыслям, ходить он мог только медленно, сильно опираясь при этом на толстую палку. В вознаграждение за все это он был представлен к очередному ордену и получил отставку с пенсией и мундиром.

Кроме него, сидели в гостиной две его дочери: старшая, Варя, — уже невеста, с пышными щеками, с русой косой до пояса и с бирюзовым девическим колечком на левом мизинце, и младшая, Оля, — подросток с полуоткрытым алым ртом и жадно вбирающими решительно все на свете глазами.

Иногда заходила и присаживалась их мать, Капитолина Петровна, дородная женщина, всегда очень приветливая и в вечных хлопотах по хозяйству. Придет, посидит, скажет два слова и тут же плавно выйдет, вспомнив, что за чем-то там еще не досмотрела и что-то вот сию минуту перекипит.

— Я не сомневаюсь, Иван Ильич, что никто из сейчас напавших не выйдет от нас живым, но подумайте, сколько это будет нам стоить! — отозвался капитану Дебу. — А между тем как недавно еще, всего лет десять — одиннадцать назад, когда нашему царю донесли, что в Париже ставится пьеса "Екатерина II и ее фавориты" и, конечно, имеет огромный успех — успех скандала, — он собственноручно написал послу нашему при французском дворе, графу Палену: "С получением сего, в какое бы время ни было..." Заметьте, "в какое бы время ни было", то есть хотя бы в четыре часа ночи!.. Я это письмо наизусть знаю! — "...нисколько не медля, явитесь к королю французов

и объявите ему мою волю, чтобы все печатные экземпляры пьесы "Екатерина II" были немедленно же конфискованы и представления запрещены на всех французских театрах. Если же король на это не согласится, то потребуйте выдачу кредитивных грамот и в двадцать четыре часа выезжайте из Парижа в Россию. За последствия я отвечаю. Николай..." Вот какое письмо, а? Королю Франции!

— Следует, да! — пристукнул капитан. — За это... следует!

— Курьера монарх наш отправил лично, — продолжал Дебу. — Курьер помчался. Прибыл в Париж, — граф Пален как раз обедает в королевском дворце. Вызвал его, передал письмо. Посол наш вернулся в обеденный зал и к королю: "Ваше королевское, прошу дать мне немедленно аудиенцию!" Конечно, Людовик-Филипп должен был удивиться, — он и удивился. Он предлагал отложить дело до послеобеда, а граф Пален в свою очередь ссылаясь на строгий приказ депеши. Король вышел в соседнюю комнату, граф Пален познакомил его с полученной депешей. Конечно, Луи-Филипп вышел несколько из себя: "Воля вашего императора, говорит, может быть законом только для вас, граф, а не для меня, поскольку я — король Франции. Прошу передать вашему императору, что во Франции не деспотизм, а конституция и свобода печатания, поэтому если бы я даже вздумал пойти навстречу желанию вашего императора, то я пошел бы против конституции французской и против свободы печати, а это уж совершенно невозможно!"

— Гм... Та-ак! А граф Пален на это? — негодуя пошевелил палкой капитан.

— Граф Пален, естественно, говорит: "В таком случае прикажите выдать мне доверительные мои грамоты". — "Как выдать грамоты? Но ведь это равносильно объявлению войны!" — "Может быть, и так... Во всяком случае мой император пишет ведь, что сам отвечает за последствия..." — "Тогда дайте, говорит король, время посоветоваться с моими министрами!" Пален, конечно, указал на депешу, где говорилось о двадцати четырех часах: дескать, двадцать четыре часа могу ждать, а там, если ответ будет нежелательный, выеду.

— И что же?... Что же?

— И совет министров был тотчас же созван, и часа через два вышло

постановление: все напечатанные экземпляры пьесы конфисковать, постановку пьесы запретить... Император был удовлетворен, и Пален остался на своем посту... Вот что было еще так недавно!

— Так, да, так... именно так... должен был поступить... поступить наш царь! — очень волнуясь и дергая головой, припечатал капитан.

— Замечательно! — врасстяжку сказала Варя и перекинула тяжелую косу с левого плеча на правое.

Влажный рот Оли заалел еще ярче, и глаза стали еще круглее.

— Однако это еще не все, — продолжал Дебу.

— Ах, вы что-то очень интересное говорили, Ипполит Матвееч, а я опоздала послушать! — вошла, улыбаясь, Капитолина Петровна и села на пуф.

— Сейчас расскажу не менее интересное, — утешил ее Дебу. — В сорок четвертом году кто-то таким же образом написал во Франции пьесу "Павел I". Может быть, даже тот же самый автор. Дело касалось, значит, уже не бабушки царя, а его отца. Автор, конечно, не постеснялся наделить его разными отрицательными чертами и сцену убийства его в Михайловском дворце дал, — и, конечно, снова успех скандальный был бы, если бы пьеса была поставлена. Но теперь Пален уже следил за этим и сам донес царю, что такая вот пьеса готовится к постановке. Царь наш, конечно, написал королю, что если эта пьеса будет поставлена, то он пошлет в Париж миллион зрителей в серых шинелях, которые ее освищут.

— Браво! — сказала восхищенно Капитолина Петровна, хлопнула в мягкие ладони и вышла.

— Вот это... вот это... это... — заволновался капитан, разнообразно двигая головою, наконец поднял палку и положил такую печать, что задребезжали тарелочки на этажерке.

— Конечно, после такого письма пьеса эта так и не увидела света, — продолжал Дебу. — Это ли не мировое могущество? Вмешаться в частные и вполне внутренние дела другой великой державы, и великая держава спасовала, как только наш царь пригрозил войной!.. А Венгерская кампания? Неизвестно, что было бы с Австрией в революционном сорок девятом году. Скорее всего, что Австрия распалась бы на несколько республик. Кто подавил движение

венгров? Наш царь, как известно. И власть молодого Франца-Иосифа укрепились, а ведь на волоске висела! Государь же наш получил название европейского жандарма... Но вот прошло несколько лет, и что же? Уж не наш император французскому королю, а французский император нашему пишет знаменитое письмо в январе и предлагает ему немедленно помириться с Турцией, "иначе, пишет он, Франция и Англия будут принуждены предоставить силе оружия и случайностям войны решить то, что могло бы быть решено рассудком". Так писать нашему царю — это значит перестать его бояться! А Франц-Иосиф!

— Негодяй! — решительно выкрикнул капитан. — Это... это — негодяй!

— Он забыл даже о том, что владеет Австрией теперь только благодаря нашему царю, и двинул против Горчакова свои войска. Это значит, что до того уж перестали бояться, что даже и самой черной неблагодарности не стесняются!.. А наш царь, говорят, до того любил этого Франца, что даже статуэтку его везде с собой возил! Однако почему же перестали бояться — вот вопрос?

И Дебу оглядел не только Зарубина, но и Варю и даже чрезвычайно внимательно слушавшую Олю.

— Потому что их несколько держав, — не совсем уверенно ответила Варя, перебрав тонкими пальцами кружевную пелеринку на груди.

— Конечно! Потому что их много, а русские одни! — тут же согласилась со старшей сестрой младшая.

Но отец их выжидающе смотрел на своего квартиранта и молчал.

Квартирант же будто думал вслух:

— Отчасти, разумеется, потому, что коалиция, но это не все. Больше всего потому, что высмотрели у нас не одну ахиллесову пятую.

— Не одну! А сколько... сколько же? Две? — вдруг неожиданно зло подался к нему капитан.

— Нет, не две даже, а, я думаю, побольше, — спокойно возразил Дебу.

— Севастополь выбран не зря. Прежде всего он у моря, которое не замерзает, а затем к нему нет дороги.

— Как же так нет дороги? — удивилась Варя.

— Я говорю о железной, конечно. У союзников в руках самый удобный и самый дешевый путь. Пока нашей армии на выручку подойдут

пешком, скажем, пятьдесят тысяч, союзники могут подвезти сто. Я думаю, что весь расчет свой они строили только на этом.

— Что вы, Ипполит Матвеич! Неужели же вы думаете, что они возьмут Севастополь? — очень обеспокоилась Капитолина Петровна, вновь появившись.

— Нет, я думаю, что может быть хуже, — быстро вскинул на нее глаза Дебу и тут же опустил их, — до того растерянное было теперь лицо у этой всегда приветливой женщины с добрым сердцем. — Видите ли, Россия и во второй половине девятнадцатого века продолжает оставаться страной крепостного рабства. Нужно сказать, что наш император одно время хотел освободить крестьян, и по этому поводу было собрано, как известно, особое совещание Государственного совета, и на нем сам царь выступал с речью, однако из этого ничего не вышло: высшее дворянство оказалось против этого проекта и в первую голову наш главнокомандующий, князь Меншиков, заядлый крепостник, потому что он владелец чуть ли не десяти тысяч крестьян. Но железные дороги и крепостное рабство, согласитесь сами, это не вяжется одно с другим. И, однако, если Россия и спаслась чем от глубокого вторжения врагов, то только своим бездорожьем. Царь наш в своем манифесте вспомнил 1812 год, но французы его, конечно, тоже помнят, и вглубь нашей страны они не пойдут, я думаю. Какой им смысл уходить от моря, то есть от своего флота, даже вглубь Крыма, не только вглубь России, если у них артиллерия, как известно, гораздо лучше нашей! Мне кажется, союзникам нет даже и смысла особенно спешить брать Севастополь. Зачем им это делать?

— Как зачем, если вся война из-за Севастополя? — как будто даже обиделась на Дебу Варя за то, что он будто дешево очень оценивает ее родной город.

И все четверо Зарубиных непонимающе переглянулись, но Дебу продолжал спокойно:

— Мне кажется, что Севастополь будет просто местом артиллерийской дуэли. Союзники вызвали нас на артиллерийскую дуэль и местом для нее выбрали нашу крепость, где самый большой арсенал на юге России. На Одессу ведь вот же они не пошли, как многие у нас думали. Они пришли туда, где мы вооружены лучше всего, и, я думаю,

их единственный план — своими оружейными заводами задавить наши оружейные заводы. Наш ближайший к Севастополю пушечный завод в Луганске, но доставить оттуда пушки и снаряды в Севастополь куда труднее, чем из Англии морем, — и, конечно, по сравнению с английскими и французскими пушечными заводами это очень плохой завод.

— Что такое он... он... говорит, этот? — побледнев еще заметнее и показав набалдашником палки на Дебу, спросил тихо жену Зарубин.

Та тут же подошла к нему вплотную и положила руку на его шею, шепнув:

— Не волнуйся, Ваня, тебе вредно!

А Дебу, обращаясь в это время только к Варе, продолжал, не замечая:

— Допустим на минуту, что союзники пришли к самому Севастополю. Естественно, что их встретят оружейными залпами. Так начинается эта дуэль. Допустим еще, что они в результате этой дуэли возьмут Севастополь через месяц. Есть ли им смысл уходить отсюда дальше в Крым? Решительно никакого! Им выгоднее всего снова укрепиться в нем и ждать, когда его придут отнимать русские дивизии, чтобы снова показать им превосходство своих оружейных заводов и своих инженеров.

— Это — француз! Да! — стукнул яростно палкой и закричал, искажив лицо, Зарубин. — Вы француз, и потому вы... Как вы смеете говорить так? А?... Как смеете?

И он поднялся, согнувшись и подавши все тело на палку.

— Успокойтесь, Иван Ильич, — кинулся к нему Дебу. — Ради бога, успокойтесь! Я ведь только рассуждаю с точки зрения союзников... То есть пытаюсь найти их точку зрения, — только! Я француз и католик, но по подданству такой же русский, как и вы.

— Вы не смеете, нет!.. Вы... вы — солдат унтерского звания, вот! И вы-вы... не смеете рассуждать! — кричал Зарубин, краснея и дергая шеей.

— Рассуждать я все-таки должен, хотя я и солдат, — примиряющим тоном обратился Дебу не только к нему, но и к Капитолине Петровне.

— А говорю это затем, чтобы убедить вас поскорее отсюда уехать, так как мне будет больно, если из вас кто-нибудь погибнет. Понимаете?

Очень больно! Вот почему говорю.

— Но ведь князь пошел же не допустить союзников до Севастополя, и он не допустит! — больше вопросительно, чем убежденно сказала Капитолина Петровна.

— Будем верить, будем надеяться... когда на это никто уже не надеется и Севастополь укрепляют, как умеют и могут. Но что вам мешает уехать хотя бы на время, не понимаю.

— Куда же мы поедem из своего дома? — уже с тоской в голосе сказала капитанша. — У нас ведь нет никакого имения, а дом мне от матери перешел по наследству... Здесь они у меня родились все, — кивнула она на Олю, и вдруг слезы навернулись ей на глаза и покатались одна за другою по полным гладким щекам.

Оля подошла к матери и поцеловала ее в подбородок, Варя отвернулась к окну, плеснув по покатым плечам косою, а сам Зарубин, одетый ввиду прохладной погоды в старый флотский сюртук, продолжал еще смотреть на Дебу яростными глазами, когда вбежал, запыхавшись, пятнадцатилетний сын его Витя, юнкер флота, и, не снимая белой бескозырки с лентами, крикнул ломающимся голосом:

— Сусловы уезжают, мама! Я сейчас видел!

— Куда же они уезжают? — спросила Варя.

— Не знаю. Говорят, пока еще можно проехать... "Громоносец" и "Херсонес" вышли за боны, — теперь на открытом рейде... И "Бессарабия" тоже.

В семье Зарубиных знали, что эти три парохода военного флота и что это утешительно: отважились выйти из бухты! А мальчик продолжал так же возбужденно:

— А что делается на улицах — не-ве-роятно!.. Везде роют траншеи! И на Театральной площади тоже!

— И на Театральной даже? Надо пойти посмотреть... А потом в свой батальон зайти, — сказал Дебу, подвигаясь к двери, и добавил, выходя: — Вот видите, Сусловы уехали, а им ведь труднее вашего было собраться, Капитолина Петровна. Эх, начинайте-ка скорее укладываться, чтобы не было поздно потом! Раз надо бежать, бегите!

Южная бухта делила Севастополь на две очень неравные части: по одну сторону, ближе к скрытым в земле руинам Херсона, расположился довольно правильно разбитыми кварталами собственно город, по другую — морские казармы, порт с его сложным хозяйством, мастерскими и доками, примыкающими к небольшому заливу — Корабельной бухте. По соседству с Корабельной бухтой и доками селились отставные шкиперы и боцманы, построив Корабельную слободу в несколько улиц. Невдали от нее расположены были крепкие, из местного белого камня, двухэтажные постройки морского госпиталя — в одну сторону, а в другую — Малахов курган с башней на пять орудий. Эти две части Севастополя находились между собою в постоянном и очень оживленном сношении: ялики морского ведомства беспрестанно сновали с одного берега на другой.

Но Северная сторона, лежавшая за Большим рейдом, была почти совершенно пустынна. Не привлекавшая поселенцев, она не привлекала внимания и крепостного начальства. Там было только несколько фортов, охранявших вход в Большой рейд с открытого моря, причем один из этих фортов был построен еще при адмирале Лазареве с разрешения Меншикова отставным поручиком артиллерии Волоховым на свой счет. Этот форт, глядевший в море, так и назывался Волоховой башней.

Однако не нашлось других отставных поручиков артиллерии, чтобы построить хотя бы слабые укрепления поясом по Северной стороне от Волоховой башни до конца Большого рейда — на семь верст. Линия фортов там, правда, намечалась, но давно — лет двадцать назад, — и только на карте.

Теперь же первое, что, к удивлению своему, отметил, выйдя от Зарубиных, Дебу, было то, что дюжие вороные артиллерийские кони везли одно за другим несколько орудий в направлении к Царской пристани, откуда их могли переправить не иначе как только на Северную сторону. На улице от грузно цокающих по гладкому булыжнику подков и от подпрыгивающих дебелых зеленых колес с толстыми железными шинами стоял грохот. Из окон, отставляя цветочные горшки и отстраняя занавески, высовывались любопытные женщины.

Рядом с последним орудием ехал верхом знакомый Дебу артиллерист, штабс-капитан Кушталов. Ему крикнул Дебу, поднимая над головой шляпу:

— Куда? На Северную?

— Укрепляемся про всякий случай, — приставив руку ко рту, чтобы Дебу сквозь грохот расслышал слова, ответил Кушталов, проезжая.

А в обратную сторону, явно на Симферопольскую дорогу, двигалась длинная арба, запряженная парой мелких деревенских лошадок. Возчик шел рядом, с вожжами в одной руке и с кнутом в другой, а на тяжело груженной разными домашними вещами арбе важно сидела пожилая женщина в ковровой шали — экономка ли, нянька ли чья, а рядом с нею солдат с неизгладимой печатью денщика на широком сытом рябом лице. Выше других вещей на арбе желтело узенькое плетеное детское креслице, без которого как же было обойтись в Симферополе или Николаеве счастливому семейству, очевидно уехавшему из обреченного города раньше.

Партию рабочих с кирками и лопатами на плечах вел куда-то исполнительного вида унтер-офицер. Рабочие были в фартуках и сапогах бутылками. Фартуки и сапоги их были заляпаны известью. Лица у них были не то чтобы запыленные, а явно недовольные. Унтер же говорил им, проходя и взглядывая искоса на штатского в шляпе:

— Теперь не то что новые дома класть, а впору об старых заботу поиметь, чтобы часом их не развалили неприятели...

И Дебу понял, что этих каменщиков по чьему-то приказу сняли с постройки рыть траншеи.

Кучка смуглых бородатых потных людей, оживленно жестикулируя и громко говоря на неизвестном Дебу языке, вышла из переулка прямо против него, и один из них обратился к нему крикливо:

— Гаспадин! Скажи, гаспадин, старшуй начальник как мы найдем, а?

— А вы... что же за люди такие? — спросил Дебу.

— Люди? — вопросительно, но быстро оглядел говоривший других своих и ответил, ткнув себя в грудь большим пальцем: — Ми нэ люди, ми — кадыккойские греки!

— А-а, вон вы кто, а я думал — цыгане... Зачем же вы пришли?

— Ми нэ пришли, ми на лошадь прыехель! — с еще большим

достоинством ответил грек.

Понемногу разговорились. Можно было понять, что эта кучка кадыккойских греков приехала сюда узнать, что делать всем вообще кадыккойским и балаклавским грекам, если подойдет неприятель: сидеть ли в своей Балаклаве, или, может быть, будет безопаснее перебраться всеми семействами и со всем имуществом сюда, в Севастополь.

Вопрос был, конечно, важный, и Дебу подробно и долго объяснял им, как пройти к Екатерининскому дворцу, где могли бы им указать того, кто теперь распоряжался всем в крепости за отбытием светлейшего на Алму.

А когда он прошел дальше, к Театральной площади, то увидел, что там, в дальнем конце ее, на выходе из города, действительно, как говорил Витя Зарубин, рыли канаву, но рыли какие-то бабы, чего не сказал Витя. Однако бабы эти, не в пример каменщикам, рыли траншеею весело, то и дело покатываясь от хохота по новости дела. Руководили их работой два пожилых саперных солдата, старавшихся унять их веселость окриками.

Дебу хотел было подойти поближе к веселым землекопам, но тут, под барабанный бой маршируя, вышла на площадь рота матросов одного из морских батальонов, сверкая на солнце стволами и штыками ружей. Какой-то лейтенант, ротный командир, четко идя под барабан впереди, вдруг обернулся, прошел несколько шагов задом и неистово скомандовал под правую ногу:

— Прот-та-а... стой!

Рота сделала еще шаг, ударив по земле ногами изо всей силы, и стала вкопанно. Барабан умолк.

Дебу увидел, что матросы, когда они собраны вот так в роту, кажутся благодаря своим высоким и широким грудям и дюжим воловьим шеям какой-то непобедимой крепостью по сравнению с ротой пехоты. Но вот ретивый лейтенант, отойдя от роты в сторону, прокричал в самом высоком тоне:

— По убегающему неприятелю вдогон-ку... Первый взвод с колена, второй стоя, остальные уступами... рро-от-та...

И матросы, кто с колена, кто стоя на месте, кто выбежав вправо и

влево, начали старательно целиться в сторону Дебу, он же с давним уже, но очень стойким неистребимым в нем замиранием сердца ждал команды "пли!"

Этой команды он ждал однажды, стоя на эшафоте на Семеновском плацу в Петербурге, и с тех пор неприятное чувство всякий раз овладевало им, чуть только слышал он это вопиющее "про-о-та", за которым должно было следовать короткое, как выстрел, и страшное "пли!"

Тогда их стояло на эшафоте двадцать человек, осмелившихся читать утопистов — Фурье, Сен-Симона, Кабе и других — и о прочитанном спорить. Но самым преступным деянием их, по мнению следственной комиссии и членов суда — нескольких генералов, было то, что они осмелились читать вслух знаменитое письмо Белинского Гоголю по поводу "Переписки с друзьями"! Выяснилось при этом еще более преступное: что письмо кое-кто из них давал даже переписывать своим знакомым!

Они собирались большей частью у молодого, как и все они, чиновника министерства иностранных дел Буташевича-Петрашевского, известного прежде всего тем, что он вызывающе открыто носил строго запрещенную в те годы для чиновников и дворян бороду и шляпу с очень широкими полями — признак явного вольномыслия и даже бунтарства. Они не знали, что снисходительно смотреть на эти причуды чиновника было секретно приказано свыше, ввиду особенных целей.

Среди частых гостей Петрашевского, собиравшихся у него по пятницам, были молодые гвардейские офицеры, неслужащие дворяне, литераторы, как Пальм, Дуров, Плещеев, Салтыков-Щедрин, Достоевский, "Бедные люди" которого приводили тогда в восхищение читателей; наконец, имели вход к Петрашевскому и образованные мещане, как некий Шапошников.

Дебу помнил, как письмо Белинского читал своим изумительным голосом глубоко волнующего тембра этот щуплый, низенький и болезненный с виду, некрасивый, когда молчал, и всегда прекрасный в споре, отставной инженер-поручик Достоевский.

После чтения все говорили о позорной петле, накинута на народную

шею, — о крепостном праве.

Тогда было время тревожное не для одного только вечно боявшегося революции Николая, тогда "красный призрак бродил по Европе", революции вспыхивали одна за другой то в Париже, свергшем короля Луи-Филиппа и установившем власть временного правительства, то в Вене, то в Италии — в Неаполе, Флоренции, Милане, когда впервые известны стали имена Гарибальди, Мадзини. Все известнее становились имена творцов самого революционного учения — Маркса и Энгельса.

Тогда-то, чтобы задавить освободительное движение в Венгрии, Николай послал на помощь Францу-Иосифу свыше ста тысяч своих войск под командой Паскевича.

Тем строже отнеслись к тем, кто на "пятницах" у Петрашевского как будто призывал в Россию "красный призрак".

Почти все участники "пятниц" были арестованы в одну ночь, в апреле, но сидели в крепости восемь месяцев до суда в одиночных казематах, причем не выдержали одиночки и заболели умственным расстройством гвардейский поручик Григорьев, девятнадцатилетний студент Катенев и родной брат Дебу — Константин, тоже чиновник одного с ним департамента.

Этот день, когда их рано вывели из казематов, переодели в их собственное платье и повезли, — день 22 декабря 49 года, — мгновенно воскрес в памяти Дебу при одной этой команде лейтенанта. Их посадили в кареты, — кареты тронулись, окруженные конными жандармами с саблями наголо. Стоял мороз, и сквозь заиндеветшие маленькие окошечки кареты ничего не было видно. С ними ехал солдат-конвойный. Его спросил он: "Куда нас везут?" Конвойный ответил таинственно: "Этого не приказано сказывать". Он стал тереть и скоблить стекло пальцами, чтобы хоть рассмотреть, по какому направлению везут, но солдат завопил: "Что вы, хотите, чтобы меня из-за вас до полусмерти избили!"

Но вот, наконец, остановились кареты: привезли. Сказали: "Извольте выходить!" Вышли. Огляделись и узнали Семеновский плац.

На скрипучем синем утопанном снегу — какой-то длинный помост из свежих новых досок, небрежно обитых черным коленкором, с

лестничками с двух сторон и столбами по обочинам: эшафот. Глядели друг на друга, не веря глазам своим: почему эшафот? Почему в стороне от него солдаты с ружьями, полк солдат при всех офицерах? Почему рядом с офицерами петербургский обер-полицеймейстер Галахов, в генеральской шинели, верхом на лошади, и какой-то рыжий поп в шубе и меховой шапке с бархатным черным верхом?

Оглядывали друг друга, едва узнавая; за восемь месяцев заключения такие все стали обросшие, худые, желтые, даже богатырски сложенный Спешнев!

Все были уверены, что привезут их снова в здание суда, где и прочитают им приговор, конечно какой-нибудь легкий, но почему же вдруг такая предсмертно-торжественная обстановка?

Кто-то обратил внимание на сани, стоявшие в стороне. На этих санях громоздилось что-то, покрытое рыжим. "Это гроба наши, а сверху рогожи!" — сказал тогда Дуров, и все поверили, хотя, как оказалось, на санях была свалена их арестантская одежда.

Но говорить друг с другом им запретили: собрались тут люди для дела, деловито приказал им генерал Галахов взойти на эшафот. Их расставили около столбов — по одной стороне девять, по другой одиннадцать человек, — лицами внутрь, и на эшафот взошел тот самый аудитор, который записывал их показания на суде, длинный и тощий военный чиновник-немец.

— Шапки долой! — прокричал им Галахов.

Неторопливо, сняв перчатку с одной руки, держа бумагу близко к близоруким глазам, деревянным громким голосом прочитал чиновник приговор, кончающийся словами: "Приговорены к смертной казни расстрелянием".

И еще не успели изумленно переглянуться все они — двадцать человек на эшафоте, как торопливо сошел аудитор и взошел поп, левой рукой вытащив из кармана шубы небольшой серебряный крест. Лысой голове его было, видимо, холодно сразу после теплой шапки, но тут же снова раздалась команда Галахова им, двадцати осужденным, успевшим уже снова покрыть головы:

— Снять головные уборы!

Не все поняли эту команду, но вслед за офицерами, как гвардейские

поручики Пальм, Момбелли, Григорьев, опять сняли кто шляпу, кто шапку.

Поп оглядел кое-кого торопливым взглядом и сказал певуче:

— Братие! Искреннее покаяние перед смертью очищает душу...

Должно быть, он хотел сказать небольшую речь о пользе исповеди, но Дебу заметил, как стоявший прямо против него Петрашевский зло усмехнулся в широкие усы, посмотрев на него исподлобья, и тот пробормотал только:

— Прошу подходить к исповеди по очереди, не толпясь.

Однако никто, кроме Шапошникова, не подошел к нему. Исповедь была недолгая. Шапошников отошел. Поп подождал немного, оглянулся назад, на генерала Галахова, и спросил негромко:

— Может быть, не против убеждений ваших будет приложиться ко кресту?

И к нему продвинулся очень набожный, несмотря на свой фурыеризм, литератор Дуров, чтобы спросить его, почему не приобщает он того осужденного, которого только что отысповедовал, но поп, не отвечая на этот вопрос, сунул к его губам крест.

Когда, надев шапку и спрятав крест, спустился вниз поп, на помост взбежали с той и другой стороны солдаты, несколько человек, — с веревками, мешками, шпагами... Ротный командир, торжественно произнося: "Лишаетесь военного звания!" — переломил над головою каждого из офицеров заранее надпиленные шпаги, солдаты быстро прикрутили Петрашевского, Григорьева, Момбелли к столбам, на головы всех накинули плотные мешки... Потом раздалась эта подлая, звонкая в морозном воздухе команда ротного:

— По государственным преступникам паль-ба... взводом!

Но после этой команды настала вдруг длительная тишина. И Дебу помнил, что он занят был тем, что про себя считал мгновения: раз... два... три... четыре...

Не представлялось никаких лиц, с которыми хотелось бы хоть мысленно проститься перед смертью, ничего не оставалось как будто в памяти — пустота, и в этой черной пустоте сверкали, падая вниз, мгновенья.

Он насчитал так десять, двадцать, тридцать наконец, все ожидая

последнего человеческого слова в его жизни — коротенького, но такого огромного по смыслу слова "пли!", после которого раздастся гром залпа и тело в нескольких местах жгуче будет пронизано пулями...

И вдруг вместо этой ужасной команды барабанщик ротный ударил "отбой" и раздалась команда другая, мирная:

— К но-ге-е!

Ружья, взятые сложным приемом с прицела "к ноге", однообразно звякнули, и те же конвойные солдаты, которые натягивали на головы им мешки, кинулись их снимать и развязывать тех, кто был прикручен к столбам.

Дебу помнил, с какой ненавистью поглядел он тогда на этого осанистого генерала, обер-полицеймейстера, распорядившегося всей этой гнусной церемонией, когда он объявлял, что государь "всемилоостивейше помиловал" их и "даровал им жизнь"... для того, чтобы разогнать их, кого, как Петрашевского, на каторгу без срока, кого, как Достоевского, на каторгу на четыре года, кого, как самого Дебу, в арестантские роты... в Килию, на Дунае, а потом в Севастополь, в военно-рабочий батальон...

Но этот ненавидящий взгляд был обращен не столько к генералу Галахову, который проделал, как умел, что ему было приказано, сколько к тому, кто приказал это проделать.

Переживший предсмертный ужас Григорьев был бледен, весь дрожал и стучал зубами, бормоча что-то бессвязное: он совершенно сошел с ума.

Позже узнал Дебу, что царю было известно о "пятницах" Петрашевского еще в начале 1848 года, но он только посылал к ним шпионов и выжидал, когда они, как новые декабристы, выйдут на улицу. Петрашевцы на улицу не вышли, время же было тревожное, и царь отдал приказ об их аресте. Он сам следил за процессом, сам читал все их показания, сам же лично пересматривал приговор суда генералов, кому уменьшая, кому увеличивая сроки наказания.

Дебу передернул плечами от этих воспоминаний и обошел роту матросов стороною. Когда же, чтобы взять прямое направление на казармы своего батальона, куда он шел, он поровнялся с кучею баб,

работающих так ухарски весело, то услышал громкий, несколько хрипловатый окрик:

— Эй, барин! Чего зря бродишь, слоны слоняешь? Иди к нам, девкам, землю под пушки копать!

На задорный окрик другие ответили дружным хохотом, и он догадался, что это — те самые веселые девки, которые во множестве жили именно здесь, около Театральной площади, на выезде из города.

Приглядевшись, он заметил, что порядком здесь ведал квартальный надзиратель, так как всеми подобными девками тогда бесконтрольно ведала полиция.

Только через несколько дней он узнал, что здесь, за насыпанным девками валом, установили батарею мощных орудий и батарею эту нежно называли "Девичьей".

Тут же за Театральной площадью, по берегу Южной бухты, был разбит бульвар, открытый для гулянья даже солдат и матросов, — в то время как вход на Приморский бульвар строго им воспрещался. Проходя по этому пока еще чахлому бульвару, где дорожки подметались только перед большими праздниками, Дебу увидел направо от себя новую толпу рабочих, только уже не девок. Это были из так называемых рабочих батальонов порта, но оттуда, из порта, где они работали постоянно, их перебросили сюда по чьему-то властному приказу.

Дебу помнил, что еще в апреле этого года на месте теперешних работ был чей-то виноградник, обнесенный невысокой каменной стенкой, и на винограднике торчала небольшая сторожка. Потом солдаты копали здесь траншеи и блиндажи, которые накрывали бревнами в накат и присыпали землей и песком; это место стало называться четвертым бастионом.

Но теперь он видел, что и бульвар уже был размечен кольями и шестами и кое-где валялись только что срубленные молодые деревья, а к их пенькам бороздою проведена была изломанная линия будущих редутов.

В бухте, где за последнее время привычно неподвижно стояли суда: бриг "Тезей", бриг "Аргонавт", корвет "Андромаха" и прочие, теперь кипела работа; на них, как муравьи, кишели матросы, артельно крича: "А ну, ра-аз!.. А ну, два!.. Принима-ай, ра-аз!" Это по сходням из

бревен и толстых досок выгружали на берег с мелких, не имевших боевого значения судов орудия, а на берегу уже ожидала их артиллерийская запряжка, чтобы отвезти на позиции.

Но что особенно поразило Дебу дальше, когда он подошел к концу бухты, это кипучая деятельность арестантов морского ведомства, плавучая тюрьма которых, блокшиф "Ифигения", торчала тут же, в бухте.

Засидевшиеся арестанты работали ретиво, с прибаутками и смешками, вроде тех девок на площади, но они разбирали каменную ограду чьей-то земли в стороне и перетаскивали на носилках камень к дороге из Севастополя на Симферополь. Часть их рыла также и землю, но вырытую землю свозили на тачках туда же, где укладывали длинным рядом камень, оставляя на широкой гуртовой дороге в середине только узкий проезд для двух подвод.

Отыскав глазами тюремного надзирателя, Дебу подошел к нему и спросил недоуменно:

— Что такое тут делают, а?

Усатый сумрачный надзиратель оглядел его от шляпы до башмаков весьма недовольно и ответил без малейшей тени уважения:

— Сами видите, что... баррикады.

— Хотя и вижу, любезнейший, но трудно было догадаться, чтобы арестанты вдруг начали строить баррикады! — улыбнулся Дебу.

И он остановился здесь, чтобы уяснить самому себе, какой смысл имели эти баррикады, — могли ли они надолго задержать войска, обильно снабженные артиллерией, но надзиратель, оглянувшись, сказал вдруг ему торопливо:

— Проходите, господин, тут вольным стоять не полагается!.. Адмирал едут, проходите!

Отходя от строящихся баррикад и оглянувшись, Дебу увидел большую группу всадников — не менее как человек пятнадцать — и узнал среди них адмирала Корнилова. Корнилов ехал со стороны Корабельной слободки и Малахова кургана со всеми чинами своего штаба и что-то энергично чертил в воздухе рукою — должно быть, линию новых траншей, которые должны быть устроены безотложно.

И Дебу понял, от кого исходят все приказания по обороне города

теперь, когда Меншиков терпеливо поджидает на Алме подхода неприятельских полчищ, кто распорядился в спешном порядке снимать орудия с бездеятельных бригов и корветов и даже проституток выгнал на рытье траншей.

И в первый раз именно теперь ему стало неловко как-то за свое "вольное" пальто и шляпу и захотелось поскорее стать по виду солдатом, — пусть даже и не пустят тогда его будочники на аристократический Приморский бульвар.

В канцелярии рабочего батальона, куда, наконец, добрался Дебу, он нашел только хорошо ему знакомого батальонного адъютанта, поручика Смирницкого.

— Ну, вот и кончились счастливые дни Аранжуэца!{7} — весело сказал ему поручик, счастливый обладатель внешности, способной быть очень подобоострастной и почтительной в отношении к начальству. очень внушительной в отношении подчиненных ему писарской и музыкантской команд, восторженно-мечтательной в отношении женщин и добродушнейше-небрежной в отношении товарищей по полку.

— Да, надо приниматься всерьез за службу, — отозвался ему Дебу, присаживаясь к адъютантскому столу.

— Извольте-с добавлять теперь: "ваше благородие", — неуловимо иронически заметил поручик. — И вообще подрепертите "Памятку рекрута", а то вы нам голову снимете!

— Ну, так уж и сниму! Унтер-цер ведь я все-таки.

— Как же не снимете? Ведь вот же "ваше благородие" опять не добавили! А за сколько шагов снимать будете головной убор при встрече на улице с генералом или адмиралом?

— За шестнадцать, ваше благородие, — улыбнулся Дебу.

— Ничего нет смешного! А во фронт будете становиться за сколько шагов?

— За восемь шагов.

— А своим штаб-офицерам?

— Э-э, знаю, знаю все это отлично! Своего полка штаб-офицерам головной убор снимать за восемь шагов, а во фронт становиться за четыре... Так же и своему ротному командиру.

— А "ваше благородие" где? Нет, вы неисправимый рябчик. Впрочем, будем надеяться скоро увидеть вас офицером: Ганнибал у ворот!

— Вы думаете, у союзников имеется все-таки свой Ганнибал?

— А Сент-Арно на что?

— Посмотрим... А как думают в высших сферах, удержится князь на Алме или...

— Это уж вам лучше знать, чем нам, грешным. Вы ведь возвращаетесь в высших сферах, а не мы.

Так несколько минут поговорив шутливо об очень серьезном, поручик Смирницкий весьма откровенно зевнул во весь рот, сильно потер себе уши, так что они зарделись, как пионы, буркнул:

— Спать хочется, как коту! Сегодня ночью и трех часов не спал... — и поднялся, давая этим понять Дебу, что разговор надо уже кончать.

— На так называемое довольствие я где-нибудь буду зачислен? — спросил, подымаясь, Дебу.

— А как же! На довольствие пока зачислю вас в писарскую команду... Но при штабе батальона вы, конечно, можете проболтаться недолго. В строю, под пулями, голубчик, наживаются эполеты, а не перышком скрипя. Потом решите сами, к какому вас ротному командиру для военных подвигов откомандировать, — к тому и командирuem. А завтра с утра непременно уж приходите форменным нижним чином, а то я за вас отвечать буду... Обмундировку не пропили?

— Никак нет, ваше благородие, — хмуро улыбнулся Дебу, искоса глядя на адъютанта.

— А кто же вам разрешил косвенные взгляды эти и разные там улыбки, раз вы говорите с начальством? — играя уголками губ, нахмурил притворно свои пухлые брови Смирницкий и дружелюбно подал ему на прощанье тугую широкую лапу.

Когда Дебу возвращался на Малую Офицерскую, он уже вполне чувствовал себя нижним чином, хотя и был еще в шляпе.

И даже Варя Зарубина, которая часто дарила его внимательным, но как бы нечаянным взглядом из-под полуопущенных век и делалась такою благодарно-краснеющей, искренне-радостной, когда он заговаривал с нею наедине, не при родителях, даже она, о которой привык он думать часто и нежно, вдруг почему-то сразу отодвинулась

в его мыслях далеко в сторону: все-таки штаб-офицерская дочь! Арестанты по-прежнему ретиво воздвигали баррикады на Симферопольской дороге, а на четвертом бастионе, остановившись там со всею овитою, что-то начальственно кричал Корнилов. Нижним чинам того времени свойственно было стремиться по возможности не попадаться на глаза высокому начальству, и Дебу, не вслушиваясь в слова Корнилова, постарался скрыться за кустами бульвара.

III

Весь этот день 5/17 сентября, встав рано утром, Корнилов провел не в штабе флота, а на коне, объезжая ближайшие подступы к Севастополю, с каждым часом все ясней и ясней убеждаясь в том, что город этот, оплот всего юга России, почти совершенно не защищен с суши — раздет.

Фортификация — наука не моряков. Но блокада, как буря, выбросила на берег весь Черноморский флот со всем его экипажем, считая и адмиралов; и когда все сухопутные силы ушли на реку Алму, их место на фортах крепости, естественно, должны были заступить моряки, которых насчитывалось до одиннадцати тысяч, и контр-адмирал Истомин руководил работами по укреплению Малахова кургана, другой контр-адмирал, Панфилов, укреплял форты Южной стороны.

В то же время деятельно готовился к выходу в море и к решительному бою весь флот, за исключением совсем устаревших и мелких судов, с которых свозились орудия на берег.

Как свернувшийся еж, Севастополь расправлял и выставлял во все стороны свою щетину.

Телеграфная станция морского собрания была устроена на площадке над библиотекой, между прочим очень богатой книгами, там же установлен был и довольно сильный телескоп, в который видно было вполне отчетливо, какой силы неприятельская армада стала на якорь между Евпаторией и деревней Контуган и в каком порядке происходила высадка десанта, так что лейтенант Стеценко, явившись с докладом к Корнилову, немного мог сказать ему нового, но доклад его понравился Корнилову тем, что был обстоятелен и спокоен так же,

как и сам докладчик.

— Вот что мы сделаем, — оценивающе глядя на лейтенанта, сказал Корнилов. — Я вас зачислю в свой штаб адъютантом. Приходите ко мне сегодня обедать, — познакомимся покороче.

И в свите адмирала, которую увидел Дебу, как новичок в штабе, был и лейтенант Стеценко. Дебу просто не разглядел его в толпе всадников, а между тем они часто виделись, и подолгу говорили друг с другом, и могли бы считаться друзьями, если бы были более сентиментальны оба.

"Ветреная блондинка", генерал Моллер, старший по чинопроизводству, но в то же время непригодный для полевых действий по старости, был оставлен в Севастополе Меншиковым как начальник гарнизона. Но гарнизона этого было всего только четыре резервных батальона, стоявших, как стояли и раньше, на крупных фортах. Кроме того, у Моллера в эти тревожные дни расшалилась поясница, и он ее усиленно парил, сидя дома, и хотя разные важные бумаги по правилам субординации шли на решение к нему, он тут же направлял их к Корнилову.

Корнилов был человек увлекающийся, испытанной личной храбрости в морских боях, очень хорошо знавший морское дело, но в эти дни на него свалилась тысяча мелких забот, с которыми к нему обращались отовсюду, включая сюда и жалобу саперных частей на выданные им из складов адмиралтейства очень мягкие лопаты, которые гнулись, как картонные, при работе на каменистой земле, и слишком перекаленные кирки и мотыги, которые ломались с двух-трех ударов.

В этот день, 5/17 сентября, с библиотеки было видно, как купеческие суда начали отходить от флота союзников, и можно было насчитать свыше семидесяти судов, которые пошли на юго-запад, освободившись от десанта. Затем замечен был французский винтовой корвет, на котором разглядели генерала со свитой. Корвет этот подходил очень близко к устьям Алмы, Качи, Бельбека и к мысу Лукулл, очевидно разглядывая позиции русских войск.

Обеспокоенный Корнилов очень ярко представил, как неприятельский военный флот этой же ночью может атаковать Севастополь, может быть даже подвезет и часть сухопутных войск, чтобы внезапным

нападением занять несколько фортов. Корнилов после объезда работ собрал всех младших адмиралов и командиров судов, чтобы назначили команды матросов на помощь резервным батальонам, если услышат сигналы с флагманского корабля.

Но среди всех этих беспокойств о городе, о флоте, о чести России он (очень хороший семьянин) помнил, что этот день — годовщина его свадьбы с Елизаветой Васильевной, с которой он прожил в согласии семнадцать лет, прижил четверых детей, из которых старший сын, Алексей, уже гардемарин и совершает первое свое кругосветное плавание.

В обед он пил шампанское за здоровье своей жены, тревожно думая о том, как-то пройдут пятые ее роды, а вечером с особым курьером из Николаева получил от нее письмо, что роды прошли благополучно, что родилась дочь и в честь роженицы названа Лизой.

В этот вечер, проведенный им вместе со всем своим большим штабом и адмиралами Нахимовым, Истоминым, он был очень оживлен и даже весел. Уединившись в своем кабинете, он написал жене: "С утра взгрустнулось, когда вспомнил, что 5 сентября провожу один. Поздравляю тебя, добрый друг мой, поздравляю и дочку Лизу. Когда-то мне удастся вас всех увидеть! Из лагеря известия были и утром и вечером: неприятель по-прежнему продолжает окапываться, а мы стоим на прежней отличной позиции. У нас в Севастополе все спокойно и даже одушевленно. На укреплениях работают без усталости, они идут с большим успехом. Надеемся все-таки, что князь Меншиков обойдется и без них. С каким восторгом увидел я твои строки, написанные довольно твердою рукою!"

Он мог бы в другое время написать жене много о том, что было понятно и дорого только им двоим, но теперь за дверью сидело шумное общество, а за другою дверью ждал курьер, который отправлялся обратно в Николаев.

И хотя вот теперь, в ночной уже час, три парохода: "Херсонес", "Бессарабия" и "Владимир", по его же приказу, дежурили за бонами на внешнем рейде в ожидании нападения союзного флота и на всех судах и бастионах ждали тревожных сигналов с его флагманского судна "Великий князь Константин", сам он был далек уже от мысли о

возможной опасности, и когда кое-кто за столом сомневался в военных талантах князя Меншикова и не ждал ничего хорошего от его затеи встречать в открытом поле противника, который вдвое его сильнее числом, Корнилов горячо защищал князя и доказывал, что план его превосходен.

На другой день утром, обрадованный тем, что ночного нападения не было, что для укрепления Севастополя дается врагом еще целый день, а это большая удача, Корнилов, взяв с собою только одного нового адъютанта Стеценко, верхом поехал в лагерь на Алме.

Поехал он не за тем, чтобы получить какие-либо распоряжения князя, — лагерь уже был связан телеграфом с библиотекой морского собрания, и с князем можно было переговариваться из Севастополя, — нет, хотелось посмотреть лагерь своими глазами и убедиться в том, что действительно он крепок.

Утро было чудесное, бодрое, воздух свежий и ясный, очень четко рисовалась даль.

После ливня, бывшего три дня назад, вновь, хотя и робко еще, зазеленели сожженные летним солнцем неглубокие балки и взлобья холмов. Перепела выпархивали из-под копыт лошадей, когда, желая сократить время, Корнилов и Стеценко сворачивали с извилистой дороги и ехали напрямиком. Перепелов в это время года множество собиралось со всей хлебородной России. Отсюда они передвигались дальше на юг.

От укреплений Северной стороны до лагеря на Алме считалось верст двадцать пять, но жилые места — хутора и деревни — были здесь только по долинам речек Бельбека и Качи, а между этими долинами — унылое безлюдье.

Раньше, месяц назад, здесь можно было встретить только чабанов с отарами овец крупных здешних помещиков, но теперь и отары держались как можно дальше от моря, вдоль берегов которого от Евпатории и от Севастополя двигались войска.

Только никому не нужные суслики то здесь, то там торчали на кочках, свистели презрительно.

Оценка человека человеком — весьма капризная вещь: очень часто меняется она под влиянием иногда совершенно ничтожных причин. Но

Стеценко привык с юных лет высоко ценить Корнилова как большого знатока морского дела, теперь же, когда Корнилов взял его к себе адъютантом, он стал ближе к нему и как человек.

То бесстрашие, какое проявил Стеценко при высадке союзников, конечно было ему присуще, но он и самому себе, пожалуй, не признался бы в том, что тогда, как и на рейде, чувствовал где-то сзади себя подзорную трубу не Меншикова, которым был послан, а Корнилова, который предложил Меншикову послать не кого-нибудь другого, а именно его.

Ему, плотному и уверенному в прочности своего ширококостного тела, как-то даже чисто физически приятно было чувствовать рядом, конь о конь, гибкое и стройное тело адмирала. Он даже не только прощал ему несколько нефронтную посадку, напротив, она казалась ему такою, как надо: корниловской. И рука адмирала, которой он держал поводья, рука без перчатки, энергичная, нервная рука, казалась ему еще молодою, — гораздо моложе сорока восьми лет.

Адмирал спросил его о родных (они жили в Киеве), о невесте (у него пока не было невесты), пошутил насчет Нахимова, который каменно-тверд в своих холостых привычках, наконец заговорил о главнокомандующем (голос его, тенорового тембра, тоже очень нравился Стеценко):

— В такие дни испытаний, как теперь, главнокомандующий — это все! Все военные чудеса только от него зависят. И прежде всего, по-моему, он должен уметь выбрать место для боя... Все, что мы сейчас с таким трудом создали под Севастополем, он должен суметь найти на местности... Князь именно такую позицию и нашел, а это половина успеха, не правда ли?

Стеценко слишком высоко ставил своего начальника, чтобы ответить ему, как подобало испытанному адъютанту: "Это — безусловная истина, ваше превосходительство!.." Он принял это за едва прикрытую иронию, почему и сказал, слегка улыбнувшись:

— Это, конечно, не относится к главнокомандующему противной стороны, который наступает на самые лучшие позиции и берет их, ваше превосходительство?

— Ну да, ну да, это, конечно, относится только к главнокомандующим

тех армий, которые защищаются, как мы теперь, — живо поправился Корнилов.

— Но, однако, давно ведь известно, что самое лучшее средство защиты...

— Самому напасть! Конечно! Кто же не будет с этим согласен? Но ведь очень большое неравенство сил не обещает успеха при нападении, нет! У князя едва ли наберется и тридцать тысяч против шестидесяти... а может быть, и семидесяти.

— В истории, однако, бывали примеры, когда...

— Еще бы в истории! Но аббат Сийес{8} очень хорошо сказал насчет этого: "Ссылаться на историю для объяснения настоящих событий, это все равно, что отыскивать известное при помощи неизвестного". История — это часто просто слухи, а ведь говорится же: не всякому слуху верь. Наконец, кого бы вы там ни называли: Фемистокла{9} ли, напавшего на флот Ксеркса, Александра ли, напавшего на войска Дария, — все равно закон один для всех: войска нападавших были лучше вооружены, — вот почему им и разрешалось историей быть в меньшем числе. У нас же, конечно, наоборот, не будем высокомерны... Но князь в данной обстановке положительно незаменим. Во-первых, он умен и потому не сделает какой-нибудь вопиющей глупости, а это очень важно: один опрометчивый ход может погубить все дело... Ум — это способность предвидеть, как разовьется событие...

— Что князь умен, этого никто не отрицает, — поспешил согласиться Стеценко.

Он чувствовал, что этот вопрос о главнокомандующем очень волнует адмирала, на которого именно за последние три дня свалилось множество забот князя, множество недоделанных Меншиковым дел. Однако, если он, князь, не успел доделать их здесь, в крепости, когда давалось ему для этого много времени, то каким же образом он справится с ними там, в открытом поле, всего за несколько дней на виду у недремлющего, конечно, и все примечающего врага?

Поняв именно так тревогу своего адмирала, Стеценко поглядел на него вполне сочувствующими глазами.

Над долиной реки Качи стояла старая и густая дубовая роща. Кто-то издревле, века за два, за три, начал заботиться о том, чтобы не

вырубались деревья, и в благодарность за это какие они стали мощные, в два охвата, с широкими кронами, с прохладной тенью.

— Вот где можно было бы устроить союзникам второй Тевтобургский лес!{10} — сказал Стеценко, а Корнилов подхватил оживленно:

— Украла мою мысль, лейтенант! Я только что это же самое подумал!.. А на Алме — там ведь нет такого леса, там ведь голое плато? В конце концов не так-то легко будет держаться там нашим войскам, если у противника большой перевес в артиллерии!.. Вы хорошо знаете это место?

— Я там был дней пять назад, когда ехал встречать десант, ваше превосходительство. Откровенно говоря, хотя я и не пехотинец, мне она (эта позиция) не показалась удачной.

— Вот как! — внимательно и серьезно глянул на него Корнилов. — Не показалась удачной? Почему именно?

— Она совершенно открыта для противника, мне так кажется. А у противника при наступлении будет огромное преимущество: сады и виноградники вдоль речки... и даже целые деревни... Не знаю, впрочем, как теперь: это я видел пять дней назад, а за пять дней можно, конечно, вырубить сады и виноградники и сжечь деревни, чтобы за ними не прятались враги... из садов можно сделать у нас на позиции завалы, как это принято делать на Кавказе.

— Ну, разумеется, это все так и сделано, как вы говорите! Ведь это же азбучная истина — постараться раздеть противника и одеть себя. Кроме того, между нами и ими там будет речка.

— Речка эта везде проходима вброд, ваше превосходительство, речка эта не может служить препятствием даже для артиллерии, не только для пехоты.

— Да, поскольку теперь не зима, речка эта проходима, конечно... Но там есть болота... Наконец, если проходимы и болота, то князь, должно быть, придумал какой-нибудь тактический прием, чтобы их разбить... Наконец, были сведения, что неприятель усиленно окапывается — значит, он сам боится нашего нападения.

— Когда я проезжал мимо нашей позиции пять дней назад, я нигде не заметил у нас окопов, ваше превосходительство, — припомнил Стеценко то, что его тогда поразило. — Значит, у них уже роют окопы,

а у нас нет.

— Как не было окопов? — даже повернулся к нему в седле Корнилов.

— Вы просто промчались тогда мимо в карьер и не заметили их!

— Именно там я не мчался, ваше превосходительство, — там я дал отдых лошадям и ехал шагом... Но, конечно, за пять дней все там сделали неузнаваемым, — добавил Стеценко, заметив, что лицо адмирала из благодушного, каким оно было раньше, становится слишком начальственным.

— Разумеется, при такой массе рабочей силы там уже теперь повернули плато! — отходчиво сказал Корнилов. — Что же там еще им делать, как не рыть окопы?

То и дело попадались по дороге казачьи пикеты, на которых еще издали встречали адмирала раскатистой командой: "Смирна-а!" Но из деревень поспешно выезжали татары, угоняя и скот. Это было особенно заметно в долине Качи, близкой к позициям русских войск. Подводы тянулись цепочкой, обозами на восток, к Бахчисараю.

IV

Меншиков встретил Корнилова в своем шатре, где он только что собирался обедать со всеми своими адъютантами. Шатер этот был основательной величины вместилище, разделен он был большим персидским ковром на две части: столовую и княжескую спальню.

Из столовой в сторону неприятеля был направлен телескоп такой же величины и силы, как и стоящий на библиотеке морского собрания. Около телескопа Корнилов и застал князя.

Конечно, приезд Корнилова был не вполне самочинным: он просил разрешения на это Меншикова накануне депешей и получил ответ: "Если обстоятельства позволят вам отлучиться на день из Севастополя, приезжайте". Князь мог бы добавить к этому: "Буду рад вас видеть", — но даже из вежливости не добавил. В таком ответе можно было прочесть желание князя, чтобы обстоятельства оказались сильнее и не позволили любопытному адмиралу появиться в лагере перед боем. Но Корнилов пренебрег всякими догадками и на этот счет: пересилило любопытство.

Однако не одно только любопытство двигало Корниловым, хотя и

более чем законное любопытство: было одно очень важное дело, о котором хотелось поподробнее поговорить с князем.

Желая усилить свою армию, Меншиков требовал безотлагательно прислать ему команды лучших стрелков флота. Между тем батальон матросов был уже откомандирован на пополнение войск князя. Корнилов думал, что такая мера, как отзыв из флота лучших людей, сделает флот совершенно небоеспособным; адмирал, он думал все-таки больше о флоте, о деле всей своей жизни, но другой адмирал, старший его в чине, его начальник, требовал тех, кто должен был обслуживать суда на море, в поле... зачем? Чтобы обессилить флот?

С высокого холма, на котором стоял шатер князя, видно было море верст на тридцать и флот союзников на нем. Несколько минут, не отрываясь, Корнилов рассматривал оценивающим взглядом старого моряка союзную эскадру. Он знал, что здесь стоят далеко не все силы союзного флота, но и эта часть их была подавляюще громадна по сравнению с количеством крупных судов Черноморского флота, однако...

— Однако, — сказал он князю, отрываясь от стекол трубы, — я отнюдь не теряю куражу, несмотря на то, что их флот сильнее! — и глаза его расширились, потемнели и загорелись.

— Я тоже не теряю куражу, хотя они вдвое сильнее меня! — улыбнулся непроницаемо весело князь, показывая длинной тощей рукой на лагерь противника. — Разве можно проиграть сражение с такими молодцами? Посмотрите, что они делают?

Долина Алмы не широка, и вся опушка садов и виноградников с той стороны реки была занята цепями русских стрелков. Вся позиция тянулась по высокому берегу реки верст за семь. В середине ее приходилась небольшая татарская деревня Бурлюк, на левом фланге деревня Алматамак, на правом фланге другая такая же деревня, Тарханлар, а от берега моря войска были отодвинуты версты на две, чтобы не пострадать от артиллерии союзного флота. Но цепи противника залегли местами всего в пятистах шагах от русских цепей, и то, на что указывал Меншиков, было, пожалуй, излишнее удальство казаков, которые прорвались ближе к правому флангу — шесть-семь человек, сквозь неприятельскую цепь, зажгли там стог сена и,

рассыпавшись, под выстрелами умчались обратно.

— Это что? Завязка сражения? — спросил Корнилов.

— Нет, это милые бранятся — только тешатся, — улыбнулся Меншиков. — Сражения я сегодня не могу начать: жду московского полка из отряда Хомутова. Два батальона должны прийти из Арабатского укрепления, два из-под Керчи. Арабатским ближе — их я жду сегодня к ночи, а вот керченские могут меня задержать. Впрочем, я с Сент-Арно не совещался: может быть, он вздумает меня предупредить и начнет сегодня.

— Сколько у них орудий, Александр Сергеевич?

— Много! Это меня печалит, — серьезно уже сказал князь. — Мы насчитали свыше ста тридцати полевых, у меня же всего восемьдесят. Большая разница! Их осадных орудий я даже не касаюсь, хотя их тоже много, конечно.

— Я могу вам прислать еще несколько судовых орудий, — живо отозвался Корнилов.

— Если не будет поздно, распорядитесь, пожалуйста. Хотя у меня, кажется, для лишних орудий не хватит артиллерийской прислуги, — вяло проговорил Меншиков, а Корнилов вспомнил то, что слышал от Стеценко насчет окопов, и внимательно присмотрелся к рыжим скатам, за которыми стояли главные силы.

— Я что-то не вижу окопов, Александр Сергеич, — сказал он с беспокойством.

— Окопов не видите! Трудно и увидеть то, чего нет, — снова улыбнулся Меншиков.

— Как? Совсем нет окопов? — почти испугался Корнилов.

— Есть кое-где эполемента, но окопы для пехоты мне кажутся совершенно лишними. Видите, как продвинулись к самому морю французы? Ведь под защитой своей эскадры они приготовились меня обойти с моего левого фланга. Какой же смысл будет в том, что мои полки будут вязнуть в окопах. Засади их в окопы, они будут защищать окопы до последней капли крови, а ни мне, ни России этого совсем не нужно. Зачем бесполезно истреблять армию?

И опять по этому желтому морщинистому лицу от седых бровей к щегольски подстриженным белым усам пробежала мгновенная улыбка.

— Но все-таки, ваша светлость, — переходя уже на официальный тон, прямо спросил Корнилов, — ведь вы надеетесь же на победу?

— Надеюсь, что будем драться на совесть, — качнул головой Меншиков, — а там уже что бог даст. Вот если бы я своевременно получил еще корпус, тогда другое дело...

И Корнилов из этого ответа понял, что больше незачем уже спрашивать об этом князя, — что он сказал все, что считал возможным сказать, а вывод из его слов только один: надо еще усерднее, чем до этого дня, укреплять подступы к Севастополю.

Так как все адъютанты князя были довольно юны, то за обедом царило такое веселье, какого ни Корнилов, ни тем более Стеценко совсем не ожидали найти здесь, в шатре главнокомандующего, накануне боя.

Стеценко знал, конечно, что первый остроумец своего времени Меншиков любил видеть около себя остряков, но слишком непринужденные остроты полковника Сколкова, Грейга и некоторых других его коробили.

После обеда варили и пили жженку. Князь был отнюдь не наигранно добродушен и весел: явно отложил он все важные дела на завтра.

Корнилов, с недоумением на него смотревший, обратился вполголоса к сидевшему за столом рядом с ним старшему из адъютантов, полковнику Вуншу:

— Какие наши главные козыри в завтрашнем бою?

— Разве завтра ожидается бой? Завтра едва ли... Может быть, послезавтра, — как бы хотел уклониться от ответа Вунш.

— Хорошо, допустим, что послезавтра. На что можно надеяться? — повторил в иной форме свой вопрос Корнилов.

— Все надежды на наш испытанный штыковой удар, — вполголоса ответил Вунш. — Мы думаем опрокинуть их штыками.

— Гм... штыками? По-суворовски? Какой старинный прием! Теперь ведь не времена покоренья Крыма, послушайте, — теперь мы защищаем Крым! И все-таки ничего, значит, кроме штыков?

Моряк, привыкший иметь дело только с пушками и мортирами, он в силу штыков верил мало.

Еще раз и теперь уже гораздо внимательнее, чем с приезда, оглядел он в трубу лагерь противника. Там как будто бы даже и слишком

мирно на вид, но густо, сплошь, как опенки в урожайную осень, сзади резервных колонн уже сидели палатки.

Там, за речной зеленой долиной, было так же голо, как и здесь, и лагерь противника был так же весь на виду, как и русский лагерь, и ему, моряку, даже непостижимым казалось, почему же два этих лагеря врагов соседствуют так мирно, поглядывая друг на друга, вместо того чтобы завязать бой, едва сойдясь, как это принято делать на море.

Странно было видеть, что так же, как и русские гусары, в белых коротких кителях толпились там, на своем левом фланге, спешенные английские кавалеристы дивизии лорда Лукана, а кровные кони привязаны были к длинным пряслам и тянулись тонкими шеями к раскинутому за пряслами сену.

Кавалерийский лагерь англичан был расположен сзади пехотных частей, которым в первую голову нужно было двигаться на линии русских, точно так же сзади французов разбили свои палатки турки, которых, видимо, было не так много. Они знакомо уже для глаз Корнилова алели своими фесками с черными кистями и голубели потертыми кафтанами с крупными медными пуговицами на них.

Линейки пехотного лагеря англичан ярко краснели: "дети королевы Виктории" были одеты в мундиры красного сукна, линейки французского лагеря густо синели. Но среди синемундирного василькового поля французов видны были, как венчики дикого мака, празднично-кумачовые повязки на головах зуавов, алжирских стрелков, получивших свое странное название от африканского племени зуа-зуа, из которого набирались первые туземные полки на французской службе. Зуавы дивизии Боске и Канробера не имели уж никакого отношения к племени зуа-зуа, но, чистейшие французы, они удерживали в своей форме эту дикарскую повязку на голове, нечто среднее между чалмой и феской: это была как бы вывеска их исключительного удалства, и, как пешим казакам французского войска, им сходило с рук многое в мирное время, за что сурово наказывали солдат других частей.

На переднем плане Корнилов увидел и очень знакомое ему по последним дням дело: ретивое рытье окопов. Союзники не были праздными в своем лагере: они передвигались большими частями, они

не совсем еще установились, они подтягивали свой тыл, но главное — они деятельно окапывались по всей линии своего фронта.

Может быть, они ждали нападения русских, может быть, готовили себе укрепленную позицию на случай отступления, если их атака будет отбита, но видно было одно: они тщательно старались соблюсти все правила современного ведения сражений, чего совершенно незаметно было в лагере Меншикова.

Корнилов подозвал к себе Стеценко и сказал ему:

— Вот что, лейтенант, хотя его светлость имеет как будто достаточное количество адъютантов, но вы... Я думаю, вы ему пригодитесь тоже. Я сейчас поеду обратно, чтобы приехать мне засветло. Возьму с собой казаков для эскорта, а вас хочу подкинуть князю. Мне кажется, вы здесь принесете больше пользы, чем... чем там, в городе. Вы меня поняли?

— Есть, ваше превосходительство! — ответил Стеценко, но так как Корнилов заметил недоумение в его глазах, то повторил вполголоса:

— Здесь вы можете принести гораздо больше пользы, чем кое-кто из адъютантов князя.

И отошел, чтобы поговорить с Меншиковым с глазу на глаз.

Стеценко же не успел еще разобраться в тех мотивах, которые заставили Корнилова отказаться от него как адъютанта и "подкинуть" его главнокомандующему, но одно то, что он будет участником назревающего, готового вот-вот разразиться, может быть решающего боя для всей кампании, сразу взбодрило его необычайно, и он был рад, когда, поговорив несколько минут с князем, Корнилов сказал ему как будто даже торжественно:

— Итак, оставайтесь здесь! Прошу помнить, что от адъютанта зависит многое и до сражения, и во время сражения, и после сражения тоже. Я надеюсь, что головы вы не потеряете, — это самое важное. Я так и рекомендовал вас князю.

И Стеценко понял, что, уезжая отсюда, Корнилов оставлял при Меншикове не столько его, сколько через него ту самую свою недреманную подзорную трубу, которую чувствовал он, лейтенант Черноморского флота, в каждый момент своей службы на рейде.

V

Московский полк, которого ждал Меншиков, получил от конного ординарца князя приказ о выступлении 4 сентября, но собрался только через сутки. От селения Аргин под Керчью, где стояли два первые батальона этого полка вместе со своим командиром, до позиции на Алме считалось двести двадцать верст, пять суток пути форсированным маршем, причем, конечно, много было бы отсталых.

Командир полка, генерал-майор Куртьянов, человек огромного полнокровия и сверхъестественной толщины, весьма зычноголосый, читавший только журнал "Русский инвалид", и то на тех только страницах, где помещались списки произведенных и награжденных орденами, и предпочитавший так называемые "крепкие" слова всем вообще словам русского лексикона, получив приказ "явиться без всяких промедлений", начал с того, что отобрал у населения все подводы, какая бы запряжка в них ни была: быки так быки, буйволы так буйволы, верблюды так верблюды, приказал солдатам усесться в скрипучие арбы и погонять что есть силы.

Батальоны двинулись по степи.

Конечно, пущенные рысью лошади скоро оставили за собою верблюдов, верблюды быков, быки буйволов, самых неторопливых животных. Но по пути попадались хутора болгар, колонии немцев, имения помещиков. Буйволов и быков бросали и заменяли лошадьми. Усталых лошадей тоже бросали, когда попадалось большое селение с запасом свежих коней. Обедов не варили, чтобы не медлить, но во всех встречаемых хуторах и деревнях врывались в хаты и тащили к себе в арбы все, что попадалось съестного, даже пучки кукурузы, сушившейся вдоль стен под стрехами, даже тыквы, которые долеживались на крышах, и начисто отрясали яблоки и груши в садах. От недостатка лошадей набивались в арбы так тесно, что ни лежать, ни сидеть в них не могли, стояли — благо арбы эти строились для перевозки соломы и сена и имели высокие боковины.

Стоя пытались и спать, но это не удавалось.

Пели жалостную песню, старательно длинно и высокими фальцетами вытягивая концы:

Вы прощайте, девки-бабы,

На-ам теперьча не до ва-а-ас!

Эх, нам тепереча д не до ва-а-ас:

На сражение везут на-а-ас!

Но ротным командирам, ехавшим верхами, не нравилась эта заунывная, совершенно неформенная песня, они обрывали ее в самом начале: мало ли хороших настоящих солдатских песен? И вот по степи летела другая, гораздо более подходящая к случаю, хотя и старинная, песня на взятие Хотина:

Ой, пошли наши ребята

На горушку на круту,

Ко цареву кабаку,

Ко Ивану Чумаку.

Ой, Иване, ты чумак,

Отворяй царев кабак,

Увпущай наших ребят!

Не успели вина пить,

Барабаны стали бить,

Они били-выбивали,

Нас, молодцев, вызывали

Сорок пушек заряжать

Хотин-город разорять!

Уже ночью на вторые сутки езды заметили в степи зарево пожаров: это казаки по чьему-то приказанию жгли то здесь, то там татарские аулы и русские деревни, чтобы они не достались врагам.

Утром стали попадаться дымившиеся пепелища, уже брошенные жителями. Лошади устали, но их негде было менять, много лошадей пало, выбившись из сил. Наконец, ротам пришлось после небольшого привала идти пешком. Было уже утро 8 сентября, до позиций на Алме оставалось, по расспросам у жителей, верст двадцать. Роты одна за другою двинулись форсированным маршем. Вышли на дорогу, ведущую из Бахчисарая в Севастополь, и пошли по ней.

Никто не встречал батальон, шли наугад и вдруг с того плоскогорья, по которому шли, увидели верстах в двух от себя неприятельские разъезды, а несколько далее — огромный враждебный лагерь, в котором все двигалось, все устанавливалось, и уже доносились

сигналы трубачей.

Толстый Куртьянов выкрикнул не один десяток слов, предпочтенных им раз и навсегда даже и для менее тревожных случаев, выехал на своем вместительном экипаже вперед и покати по направлению к аулу Тарханлар, заметив там русские резервы, за ним бегом пустились оба батальона.

Через Алму переправились вброд и в мокрых сапогах вышли на пыльную, узкую и длинную улицу этой татарской деревни, покинутой жителями уже несколько дней назад.

Так близко были от них, бежавших сюда с незаряженными ружьями, английские кавалеристы, что одного эскадрона было бы довольно, чтобы их смять лихим ударом в тыл. Тем больше была радость солдат, когда они проскочили благополучно.

Проходя мимо русских батарей, направленных жерлами в неприятельский стан, солдаты вдругхватили лихую песню даже без команды "песенники вперед!" Ударили в бубны, заиграла музыка, даже плясуны выскочили перед ротой.

Но идти к своим третьему и четвертому батальону пришлось далеко, с правого фланга на левый, через весь лагерь, растянувшийся на несколько верст. Радость успела улечься за это время, заступила ее место такая усталость, что еле доволокли ноги.

Генерал Кирьяков, объехав их по фронту и выехав на середину, крикнул:

— Вовремя дошли! Спасибо за службу! Молодцы!

— Рады стараться, ваше прево-сходи-тельст-во! — дружно ответили батальоны.

— Садись, отдыхай, ребята! Будете в резерве полка... Садитесь!

Мешками повалились солдаты наземь.

Толстого Куртьянова тоже благодарил Кирьяков. Он был торжественен, точно выиграл сражение, но сидел на коне нетвердо: он много выпил рому в это утро.

— Видали эполементы? — вдруг спросил он Куртьянова зло и с надсадой. — Приказал светлейший, длинный черт этот, такие люнеты сделать, что можно палить из пушек и туда и сюда! Это для того, чтобы французы, когда займут наши позиции, били бы из наших

орудий нам в спину!

— Не займут, Василий Яковлевич, наших позиций французы, — отозвался Куртьянов. — Пусть-ка лучше вспомнят двенадцатый год.

— Не возьмут? — прищурился Кирьяков. — Ну, тогда докладывайте командующему, что привели свои два батальона. А я с ним говорить не хочу.

Но Меншиков был недалеко. Он слышал дружное "рады стараться!" И вот штаб-ротмистр Грейг, подъехав рысью, передал приказ князя новоприбывшим батальонам Московского полка выйти в первую линию левого фланга.

— Они не могут! Они только что пришли! Они без ног! — запальчиво крикнул Кирьяков.

— Не могу знать, ваше превосходительство, таков именно приказ его светлости, — отозвался Грейг, отъезжая.

Кирьяков повернул за ним коня.

Меншиков сидел на рослом гнедом донце — сухой, костяной, желтый. Глаза Кирьякова с трудом выкарабкивались из набрякших век, когда он, поднимая руку к козырьку, проговорил желчно:

— Я приказал только что пришедшим батальонам Московского полка остаться в резерве, ваша светлость.

— А я... я приказываю, — поднял голос Меншиков, — взять их из резерва сюда, на левый фланг!

— Они устали, ваша светлость!

— Пустяки! "Устали"!.. Извольте передвинуть их сюда сейчас же! Не медля!.. Сюда! Вот!

И Меншиков, отвернувшись от Кирьякова, указал рукой, куда он думал поставить батальон.

— Слушаю, ваша светлость! — вызывающе громко гаркнул Кирьяков и дернул поводья с такой силой, что едва удержался в седле.

Между тем Куртьянов уже скомандовал:

— Первому и второму батальонам надеть чистые рубахи и сподники!

А ротные подхватили разноголосом:

— Первой роте надеть рубахи и споднее!

— Второй роте надеть рубашки и сподники!

Солдаты, которым только что сам начальник дивизии приказал

заслуженно расположиться на отдых, недоуменно вскочили, но проворно начали вытаскивать из ранцев чистое белье.

Меняя белье перед боем, усталые батальоны разделись, как для купанья, когда снова подъехал к ним Кирьяков и, покачиваясь в седле и поблескивая Георгием, полученным за усмирение польского восстания, знаменитым звонким голосом прокричал так, чтобы было слышно и Меншикову:

— Ребя-та! Пойдете сейчас на передовую позицию!.. На голое, открытое ме-сто!.. Но зна-ать, ребята, это — приказ командующего армией, а не мой!

Солдаты же говорили, натягивая на не желающие разгибаться ноги чистые сподники:

— Ну, кажись, так, братцы: паны тут промеж собой дерутся, а у нас, хлопцев, будут чубы трещать!

Все-таки голые потные тела их продуло утренним ветерком, освежило. Начали даже шутить по рядам:

— Отысповедались у начальства, причепурились, — айда теперь, братцы, к французским попам причащаться!

Они уже узнали от своих однополчан, раньше их пришедших с Арабатской стрелки, что против них и всего левого фланга русской позиции стоят французы.

Кирьяков назначен был Меншиковым командовать левым флангом, князь Горчаков 1-й — центром и правым. Против него строились к наступлению красные полки англичан, а синие колонны лучшего из французских генералов — Боске — под музыку и ожесточенный барабанный бой парадным форсированным маршем двинулись уже к устью Алмы, против которого выстроились левыми бортами к русской позиции восемь линейных паровых судов.

Палатки еще рано утром были сняты как в лагере союзников, так и в русском. Уложен был на подводы в тылу и огромный шатер Меншикова вместе с обеденным столом и телескопом, теперь уже ненужным, так как враги шли открыто и были близко.

Глава четвертая. Бой на Алме

I

На балу, данном Бородинским полком 30 августа, мало было офицеров Владимирского и Суздальского полков, 1-й бригады 16-й дивизии, корпуса князя Горчакова: эти полки еще за две недели до бала вышли из Севастополя и стали лагерем на той самой позиции при устье Алмы, которая была выбрана Меншиковым для встречи союзников.

Может быть, служба в министерстве иностранных дел, с которой начал свою государственную деятельность Меншиков, приучила его как дипломата к большой скрытности, но он никогда не был тем, что называется "душа нараспашку". Он как будто твердо помнил ядовитый афоризм Талейрана о языке, который дан человеку, чтобы скрывать свои мысли.

Может быть, эта скрытность, как и высокомерие в отношении окружающих, объяснялась переоценкой своих способностей; может быть, он думал, что таким именно и должен быть всякий вообще "светлейший" князь, так как "светлейших" было в России немного. Но могло быть и так, что, сознательно или нет, Меншиков подражал царю Николаю, который готов был вмешиваться во все даже мельчайшие дела своих министров и выносил очень часто решения, совершенно неожиданные для них по своей непродуманности (вроде беседы с английским посланником Сеймуром о разделе Турции), зато самостоятельные и без задержек.

Меншиков тоже привык самостоятельно решать самые разнообразные дела во всех ведомствах, какие поручались ему царем, и потому не заводил штаба, а многочисленных адъютантов держал при себе, как ординарцев, для посылок. Между тем среди них были люди, хорошо для своего времени знавшие военное дело, офицеры-генерального штаба, как капитан Жолобов, полковник Исаков, полковник Сколков и другие.

Позицию на Алме он наметил еще в конце июня, когда писал свою докладную записку царю о единственно возможном, по его мнению, месте высадки союзников у Евпатории. Он надеялся, что царь не поскупится на войско, чтобы увеличить крымскую армию вдвое-втрое; тогда он думал решительным сражением на этой именно позиции раздавить союзников, если не удастся помешать их высадке. Однако,

любивший только свои личные решения, Николай не хотел допустить и мысли, чтобы союзный десант высадился в Крыму: берега Кавказа — это другое дело, но никак не Крым!

Меншиков остался при тех слабых силах, какие у него были, но с облюбованной им заранее позиции для встречи противника не сошел, хотя позиция эта и была слишком велика для его тридцатидвухтысячной армии.

Однако позицию эту, природно сильную, можно было значительно укрепить для оборонительного боя, чтобы этим несколько возместить недостаток войск. Для этого было время и было много рабочих рук.

Но владимирцы и суздальцы, поставив тут свои палатки и наскоро устроив кухни и пекарни, повели обычную лагерную жизнь. Утром барабанщики и горнисты на передних линейках выбивали и трубили зорю; затем роты маршировали под барабан, благо места для этого было вполне довольно, делали сложные построения и ружейные приемы, ходили учебным шагом, на прямой поднятой ноге вытягивали носок и, продержав ее так с минуту, топали ею о землю что было силы, для того чтобы тут же поднять и вытянуть другую ногу, и подтягучую команду "два-а-а" с минуту дожидаться благодатной команды "три!" Часами ходили так, как никто и никогда не подумает ходить в жизни, но это называлось "ученьем" солдат, но этого только и требовало начальство на смотрах. Иногда вечером командир бригады устраивал для разнообразия "зорю с церемонией" по всем правилам, существовавшим на этот счет в печатном уставе. А ночью, вылезая из палаток и мимо дневальных проходя как бы "до ветру", солдаты делали набег на искушающие виноградники и сады этой богатой долины, где у нескольких мурзаков, татарских дворян, были отдельно стоявшие от деревень усадьбы.

Офицеры же облюбовали себе трактир — по-местному кофейню — в ауле Тарханлар, где можно было достать сколько угодно вина и заказать шашлык из барашка и кофе по-турецки.

Этот лагерь русского отряда в несколько тысяч человек пехоты резко бросился в глаза и Раглану, и Канроберу, и другим союзным генералам, выезжавшим на пароходах от Змеиного острова для окончательного выбора места высадки. Очень нетрудно было

догадаться, что именно здесь готовится десантной армии встреча.

Когда Раглан предлагал адмиралу Лайонсу отрядить суда для прикрытия демонстрации высадки у устья Качи, он хотел, между прочим, выявить, насколько прочно прирос к месту русский отряд по Алме — не сдвинется ли он поспешно на юг, к устью Качи, отражать десант.

Но бригада не сдвинулась с места, так как не получила на этот возможный случай никаких приказаний от высшего начальства.

На алминской позиции, на высоком берегу, на холме, близко к мысу Лукулл, получившему свое имя от римского полководца, победителя царя Митридата VI^[11], была устроена телеграфная вышка. С этой вышки отлично было видно, как эскадра, отряженная Лайонсом для эскорта нескольких транспортов с войсками, подошла к устью Качи, как шлюпки с солдатами отчалили от транспортов, но, будто бы озадаченные выстрелами казачьих пикетов с берега, остановились в море и под вызывающий гром орудий своих судов покачивались на легкой волне, часа два ожидая, когда подойдут к берегу крупные русские силы, те самые, которые стояли на Алме, или другие, расположенные еще ближе, но не видные с рей.

Владимирцы и суздальцы остались на своих местах, военные суда и транспорты союзников вернулись вечером к озерам у развалин старого генуэзского укрепления, где производилась высадка, а Раглан понял, что русский отряд стоит на Алме не даром, что с ним неминуемо придется иметь дело при движении берегом на Севастополь.

Союзники двигались по берегу таким же точно порядком, каким они плыли на судах от Змеиного острова: с левой стороны, дальше от берега, — англичане, с правой, ближе к морю, — французы, а за французами шла турецкая дивизия в семь тысяч человек под командой французского генерала Юсуфа.

Вся осадная артиллерия — семьдесят орудий, с ними сто тысяч штук кирпича, сто восемьдесят тысяч мешков с землею, готовые дощатые щиты для стен и крыши деревянных барачков, которые можно было установить в один день, миллион рационов муки, полтора миллиона рационов рису, кофе, сахара и множество всего, что нужно было войскам для продолжительной осады сильной крепости, осталось на

военных транспортах и должно было прийти туда, где установится под Севастополем армия, когда разобьет русский заслон.

Обоз французов был очень мал, англичане совсем не имели обоза, но в ближайших к месту высадки деревнях они отобрали триста — четыреста арб и телег и на них везли немного провианта, амуниции, палатки. Солдаты были нагружены чрезмерно: они несли с собою провианта на три дня и патроны на два сражения.

То, что высадка весьма многочисленной армии прошла так сказочно удачно, окрылило союзные войска. Боевое настроение не покидало даже и полумертвого Сент-Арно. Он ехал в покойной карете, добытой для него зуавами в имении помещика Ревелиоти, владельца имения Контуган. Мадам Сент-Арно ехала с ним вместе. Она во что бы то ни стало хотела быть свидетельницей блестящей победы своего мужа, маршала Франции, над князем Меншиковым с его казаками.

О том, что армия Меншикова мала, главнокомандующие союзных армий узнали на берегу из опроса сведущих жителей, так что золотое правило Веллингтона было соблюдено.

А 6/18 сентября утром большая часть союзных войск стянулась уже к долинам Алмы, и теперь уже все, до последнего турецкого редифа, могли осмотреть позицию русских, которую должны они были взять приступом через день-два.

II

При одном внимательном взгляде на русские позиции издали план предстоящего боя становился ясен каждому, кто хоть сколько-нибудь понимал в военном деле: левый фланг армии Меншикова из опасения обстрела с судов был отодвинут от берега моря километра на два и совершенно открыт, само собой напрашивалось обойти русские силы со стороны моря, чтобы выйти им в тыл и одним этим нехитрым маневром решить участь боя.

Так как в силу создавшихся уже условий марша вдоль берега против левого фланга пришлось французы — дивизии Боске, Канробера, принца Жерома Наполеона и Форе, кроме того, дивизия турок, бывшая также под командою Сент-Арно, то "декабрьский маршал", почувствовав себя совершенно здоровым от одной только возможности

легкой и быстрой победы, помчался к Раглану.

Раглан видел, что левый фланг русских численно был как бы намеренно гораздо слабее, чем правый, приходившийся против английских дивизий: наиболее густые колонны русских и наибольшее число батарей виднелись именно тут. Поэтому недовольно сказал он Сент-Арно:

— Вы хотите взять себе легкое, а трудное великодушно предоставить мне!

— О, совершенно напротив, совершенно напротив! — горячо возразил маршал. — Вашим храбрым полкам, может быть, даже нечего будет и делать! Дивизия генерала Боске обойдет русских, и им ничего не останется больше, как отступить. Вы просто пойдете только по их следам, ваши стрелки будут им стрелять в спины — это будет для ваших храбрых солдат не более как военная прогулка!

Раглан слегка улыбнулся и сказал:

— Гораздо лучше было бы, если бы нам удалось обойти русских с их правого крыла: тогда они были бы прижаты к морю и расстреляны судовой артиллерией, а нам с вами открылась бы свободная дорога на Севастополь!

— Это превосходно! Это чрезвычайно умный план! — живо одобрил его Сент-Арно. — Сделайте так!.. Если только это не будет гораздо труднее... Но зато русская армия совершенно перестанет существовать, и Севастополь достанется нам самой дешевой ценой! Сделайте так!

— Я подожду все-таки, когда генерал Боске сделает свой маневр по охвату русских, — уклончиво ответил Раглан. — Тогда и я попытаюсь охватить их со своей стороны... Если нам приблизительно известна численность противника, то сила его сопротивления для нас пока величина неизвестная.

Сент-Арно ликовал: близкая и несомненная для него победа над Меншиковым отдавалась Рагланом в его руки.

Он отдал приказ, чтобы 8/20 сентября в шесть утра первая бригада дивизии Боске начала наступление, и батальоны зуавов и африканских стрелков двинулись добывать славу Франции, Наполеону и маршалу Сент-Арно. С этой бригадой, которой командовал генерал

д'Отмар, пошел и сам Боске.

Дойти до устья Алмы по долине не представляло труда, но здесь Боске остановил бригаду. Поведение русских полков левого крыла было таинственно и загадочно: отлично видные отсюда, с довольно близкого расстояния, они не стреляли. Молчали их батареи; по берегу Алмы не было заметно цепи их стрелков.

Берег с этой стороны был пологий, с той — высокий, утесистый. Батареи русские стояли на холме вокруг телеграфной вышки. Алма около устья разлилась несколько шире, чем влево, выше по течению, но была очень мелка, вполне проходима вброд. А при впадении в море суживалась до того, что ее можно было перепрыгнуть с разбега: ее запруживали ею же принесенные сюда во время ливней большие камни и гравий, набросанный на эти камни морским прибоем.

Боске долго и внимательно вглядывался в ряды англичан, ожидая, что они пойдут дружно на приступ, но никакого движения там не заметил. Вторая бригада его дивизии, бывшая под командой Буа, тоже почему-то не двигалась.

— Должно быть, они завтракают, — высказал он свою догадку д'Отмару. — Отчего же в таком случае и нашим солдатам не напиться кофе? Говорят, что это не так плохо перед боем. Вода же у нас под рукой, дрова тоже... будем пить кофе!

И вот очень быстро среди зуавов и стрелков, расположившихся на невольный отдых, загорелись и весело задымили небольшие костры, и неслыханно вкусен оказался кофе вблизи русских батарей, загадочно молчаливых.

Сент-Арно в это время выходил из себя от неповоротливости генералов Буа и Юсуфа. Он даже взобрался на верховую лошадь, чтобы быть настоящим, то есть театрально-картинным, полководцем; впрочем, два адъютанта поддерживали его справа и слева, чтобы он не выпал из седла.

Он поехал лично на свой правый фланг узнать, почему мешкают с выступлением бригада Буа и дивизия турок, но при его приближении двинулись с музыкой и та и другая.

Тогда и Боске приказал своим переправляться через речку вброд, и батальон зуавов, рассыпав впереди цепь, перепрыгивая с камня на

камень, перебежал речку там, где она разлилась шире, но зато была мельче, и вот уже начал карабкаться на почти отвесные скалы русской позиции.

Это энергичное движение бригады д'Отмара было замечено Меншиковым с того холма, с которого сняли его шатер, и вот посланный им к Кирьякову лейтенант Стеценко подскакал к командующему левым крылом.

— Его светлость просит вас, ваше превосходительство, обратить внимание на эти семь батальонов французов, которые идут на вас в атаку! — почтительно взяв под козырек, отдельно проговорил Стеценко фразу, заранее составленную им так, чтобы не оскорбить вспыльчивого генерала, что могло повредить успеху сражения.

Кирьяков, прищурясь, презрительно оглядел и лейтенанта — этого нового адъютанта князя, и казачьего маштачка, на котором он сидел, и сказал с ударением:

— Передайте его светлости, что восемь батальонов французов хотят меня обойти, а не семь! И что я этих мартышек вижу и сам, но-о... несколько их не боюсь... Так и передайте!

Стеценко видел, что Кирьяков пьян, и это его испугало. Передавая ответ Меншикову, Стеценко хотел было добавить, каким он нашел этого генерала, но промолчал. Кирьяков имел репутацию боевого генерала, а привычки боевых генералов так или иначе вести себя во время сражения были ему мало известны. Ему самому казалось, что бой и без вина опьяняет, однако он знал и то, что для большей храбрости принято поить перед боем солдат; могло случиться так, что это не мешало и иным генералам.

А Боске, карабкаясь по узенькой козьей тропинке между скалами вверх, говорил д'Отмару:

— Ну, не прав ли я был, скажите мне! Нет, решительно эти господа не имеют никакого желания сражаться с нами!

Тут сверкнули желтые огоньки на бортах двух судов, они окутались дымом, громом выстрелов, и через головы зуавов полетели первые ядра в русский лагерь. Огневой бой начался.

Против мыса Лукулл была небольшая деревня Улюкол. Боске послал к ней разведку узнать, не занята ли она русскими стрелками.

Осторожно, пробегая от выступа к выступу скал, прячась за каждым холмиком, зуавы подобрались к деревне, но оказалось, что она была пуста. Лишь вдали за нею, ближе к своим войскам, однако оторванно от них, вне выстрела с судов, расположилась фронтом к морю колонна русских, приблизительно в тысячу человек.

Это был батальон Минского полка. Взобравшись наверх, откуда этот батальон отлично было видно, Боске долго вглядывался в него; даже и этому опытному в военных делах генералу, проводшему в Африке — и всегда успешно — несколько сражений, непонятно было, почему фронтом к морю, а не к нему стоял теперь этот батальон.

Но командир батальона получил приказ наблюдать за морем, не покажутся ли на нем спущенные с союзных судов шлюпки с десантом: генерал Кирьяков предполагал, что союзники способны и на такую выходку.

Однако, когда довольно густые уже толпы зуавов показались на гребне, командир батальона решил, что одной роте его можно не только повернуть к ним фронт, но еще встретить их залпом.

Раздался первый русский залп, но гладкоствольные ружья русских солдат, в которые круглые, как орехи, пули забивались при зарядении шомполами с дула, не стреляли далеко.

Зуавы, мгновенно присев, видели, как эти пули, ударившись в землю, подняли пыль и подскочили довольно далеко от них. Они переглянулись в недоумении. Но вот другие взводы роты выдвинулись вперед по команде, дали новый залп, очень старательный, как на ученье, отнюдь не сорванный ни одним из солдат; однако пули подняли полосой пыль опять на том же месте, — на предельной дистанции их полета, — в трехстах шагах от стрелявших.

Тогда зуавы захохотали неудержимо, отнюдь не стесняясь своего начальства. Они готовы были кататься по земле от хохота.

У них у всех, по всей дивизии Боске, были дальнобойные нарезные штуцеры, стрелявшие ровно вчетверо дальше, и когда улегся взрыв их непринужденной веселости, они открыли пальбу из своих штуцеров, очень оживленную, хотя и далеко не образцовую в смысле залпов. Они знали, — им говорили это, — что у русских принято ставить в строю офицеров на фланге колонн, и они прежде всего обстреляли

фланги, и там учащенно начали падать раненые и убитые.

Но, заслышав перестрелку сверху, снизу, от речки, французы все быстрее и быстрее карабкались вверх, и вот уже вся бригада д'Отмара появилась влево от русских войск.

Эта часть русской позиции осталась незащищенной не потому только, что Меншиков считал ее неприступной: он, адмирал, опасался огня судовых орудий, а между тем за высоким мысом и за круглым холмом невдалеке от мыса не было видно берега в глубину с союзных судов, и стрелять оттуда могли только наугад, без прицела.

Однако в восьми батальонах у Боске было всего не больше четырех с половиной тысяч солдат легкой пехоты, с прекрасными, правда, штуцерами, но без орудий. Орудия дивизии были при бригаде Буа, которая в это время только еще подошла к Алме и пыталась перебраться с батареями на другой берег по песчаным наносам у самого моря.

Против Боске на левом крыле русских было двенадцать — тринадцать тысяч.

Пылкий Сент-Арно, желая поскорее добиться победы на своем фланге, двинул и дивизии Канробера, и принца Наполеона, чтобы атаковать русских еще и с фронта против деревни Алматамак.

Со своей стороны и Меншиков, взбешенный бездеятельностью Кирьякова, совершенно утратил присущее ему спокойствие дипломата и, окруженный всеми своими адъютантами, поспешно спустился с холма в тылу, откуда он думал руководить боем.

И вот перед двумя в это утро пришедшими батальонами Московского полка, построенными к атаке, то есть к штыковому бою, появилась пестрая толпа всадников в формах кавалерийских, артиллерийских, пехотных, инженерных и флотских, и, полуподнявшись на стремянах, длинный, тонкий, с желтым лицом, искаженным негодованием на Кирьякова, как будто задавшегося целью перещеголять его самого в спокойствии, Меншиков закричал дребезжащим, исступленным, но незвонким, старческим голосом:

— Пе-ервый батальон вполоборота налево, а второй — вполоборота направо! Ша-агом... марш!

И батальоны разошлись: один в сторону бригады д'Отмара, другой — к

берегу Алмы.

III

Штуцеры были введены в те времена и в русской армии, но их было еще очень мало — всего по двадцать четыре на целый пехотный батальон. А у резервных батальонов Белостокского и Брестского полков, которые тоже были переброшены Меншиковым из Севастополя на Алму, были даже совсем древние — кремневые ружья, как у запорожцев времен гетмана Сагайдачного.

Штуцерники полков, стоявших в первой линии, были посланы в застрельщики в сады и виноградники на правый берег Алмы. В трех деревнях долины — Алматамаке, Бурлюке и Тарханларе — почему-то разместили батальоны белостокцев и брестцев, а также два морских батальона тоже со старыми ружьями, причем матросы удивляли даже самых захудалых пехотинцев своим полным неумением стрелять; они стреляли не из-за деревьев, а прислонясь к ним своими широкими спинами.

Между тем на них надвигались дивизии, в которых все солдаты имели штуцеры и, что было не менее важно, опыт недавней войны в Африке, в то время как во всей армии Меншикова не было ни одного обстрелянного солдата.

Правда, полковые священники утром в этот день, после воинственного "генерал-марша", выбитого барабанщиками в одно время во всех полках и отдельных батальонах, служили торжественные молебны о победе и кропили солдат "святой" водою, но настроение солдат падало, когда они видели, что их ружья вызывают только хохот французских егерей, не нанося им никакого вреда, а в русских рядах падали офицеры, фельдфебеля, унтера, сваленные коническими разрывными, с ушками и стерженьком в середине пулями Минье, так что в короткое время они, молодые солдаты, остались совсем без начальства и не знали, стоять ли им на месте, идти ли вперед, или повернуть назад. Но что делали они прежде всего, оставаясь без начальства, это — снимали тяжелые, плотно набитые ранцы, сильно резавшие им плечи ремнями. Снимали и клали возле себя: без ранцев было гораздо свободнее и дышать легче.

Из двух батальонов Московского полка, получивших команду от самого Меншикова, второй батальон, при подполковнике Грале, двинулся к берегу Алмы навстречу дивизии Канробера, а первый, при котором был и сам командир полка, генерал Куртьянов, ехавший верхом, сомкнутым двадцатичетырехшеренговым строем, похожим на знаменитую фалангу Филиппа Македонского, под барабанный бой, способный из любого простоватого сельского парня сделать лихого драчуна и записного вояку, пошел больше чем за версту в атаку на бригаду д'Отмара.

Батальон этот, правда, шел не один, он шел только в голове колонны, собранной Меншиковым наскоро из ближайших к нему разрозненных частей. Тут были и батальоны Минского полка, и два эскадрона гусар, и сотня казаков, и две батареи легких орудий, стрелявших картечью. Однако уже с тысячи четырехсот шагов в фалангу Куртьянова стали залетать певучие пули Минье, и, пройдя еще шагов двести, батальон остановился: пули начали летать к нему очень густо, и отбивавшим ногу рядом то и дело приходилось обходить упавших в первых шеренгах.

— Ба-та-ль-он, ложи-ись! — скомандовал Куртьянов; однако и лег батальон так, что ровными линиями по земле очертились красные воротники солдатских мундиров, — линия за линией, — двадцать четыре сплошных линии красных воротников. И ноги в пыльных сапогах были откинuty однообразно — у всех влево. Разомкнутого строя не знали в те времена русские войска. Их учили не отрываться от локтя своего товарища и не делать ни одного шага без приказа на то начальства.

Но главнокомандующий приказал батальону идти в атаку, а не лежать под певучими пулями. И вот лейтенант Стеценко на своем маштачке подскакал к тучному генералу Куртьянову, стоявшему сзади своего батальона и платком старательно вытиравшему пот с обширного лица, не менее обширной плечи и красной шеи.

Стеценко был противен вид этой непомерно жирной и насквозь потной туши, но он передал приказ Меншикова почтительно, насколько мог.

— Что я должен идти в атаку, это я знаю сам, — продолжая вытирать шею, отозвался ему Куртьянов. — Но идти одному батальону на целую

бригаду с такими ружьями, как у них, — это без-рас-суд-ство!.. Вон, видите, сколько выбито у меня людей? — показал он на убитых и тяжело раненных, валявшихся сзади.

— Я это вижу. Однако приказ его светлости идти, невзирая на потери от огня, ваше превосходительство, — старался передать точнее слова князя Стеценко.

— Приказ его светлости, повторяю вам, лейтенант, мне известен, — но вот если бы вы передали его командиру Минского полка! В одной линии с Минским полком я мог бы пойти дальше, невзирая на большие потери...

Стеценко понял эти слова не только как адъютант главнокомандующего, а как участник сражения своей армии с армией противника. Он сказал Куртьянову:

— Есть, ваше превосходительство! — и повернул танцевавшего на месте буланого маштачка в сторону Минского полка.

Однако случилось непредвиденное им: командир Минского полка Приходкин, нестарый еще, высокий полковник, сделал вид, что очень удивлен словами Стеценко; он даже спросил, кто он такой и почему тут разъезжает. Наконец, узнав, что он — новый адъютант светлейшего, сказал с достоинством:

— Я получил приказание от самого главнокомандующего подпереть Московский полк... Подпереть, понимаете? А вы передаете мне вдруг какое-то там приказание командира Московского полка идти в атаку!

— Это не приказание, конечно... — начал было Стеценко, но полковник перебил его, подняв голос:

— Во-первых, лейтенант, передо мною нет неприятеля, а есть только Московский полк... Значит, на Московский полк мне прикажете идти в атаку? А во-вторых, лей-те-нант, я — такой же командир полка, как и Куртьянов, и ему я нисколько не подчинен, чтобы от него получать приказания!

Стеценко вспомнил, что был послан он только к генералу Куртьянову, и понял, что командир Минского полка со своей точки зрения вполне прав: он не получал приказа князя идти в атаку, — он должен только был подпирать Куртьянова. Остановился Куртьянов — остановился и он.

А зуавы Боске палили зато безостановочно. И выдвигалась уже на гребень снизу бригада генерала Буа, втаскивая орудия на холм.

Перед тем как они появились, пробовали палить по зуавам д'Отмара русские легкие батареи картечью, но картечи не положен далекий полет, а пули Минье стали перебивать орудийную прислугу и лошадей.

Когда же бригада Буа установила свои батареи на гребне, то после первых же залпов все части отряда, брошенного на этот участок боя Меншиковым, как атакующие, так и подпирающие, подались назад.

При этом пулей в левую руку ранен был генерал Куртьянов, тут же уехавший на перевязочный пункт в тыл. Вслед за ним ранен был и полковник Приходкин, командир минцев.

А за бригадой Буа переходила Алму турецкая дивизия, — правда, переходила не спеша, так как тропинка на крутом левом берегу была очень узка. Многие нежились, развалясь на пляжике при устье речки, иные даже снимали свои туфли, закатывали выше колен широкие шаровары и толпою стояли в море у берега.

Стрелки бригады Буа между тем занимали места стрелков д'Отмара, продвигавшихся дальше, к аулу Орта-Кесэк, в тыл русских войск.

Так, шаг за шагом, после полудня против обессиленного потерями от орудийного и штуцерного огня крыла Кирьякова скопилось уже шестнадцать тысяч французов и турок, левый фланг позиции Меншикова был обойден, сопротивление его сломлено, и Меншиков понял, что сражение он проиграл, как бы ни держались стойко части Горчакова в центре и на правом фланге.

Он потерял последние запасы спокойствия, когда увидел, что второй батальон Московского полка стремительно и налегке, без ранцев, тем форсированным маршем, который похож на бег, направлялся в тыл, бросая берег Алмы под натиском стрелков Эспинаса, бригадного генерала дивизии Канробера. В то же время несколько дальше и тоже от берега Алмы уходил также без ранцев четвертый батальон Московского полка, а Кирьяков, по-прежнему нетвердо сидевший в седле, даже и не пытался остановить его.

— Генерал Кирьяков, — закричал ему Меншиков, — ваша дивизия бежит! Почему она бежит? Что это значит?

— Это значит только то, что она не имеет оружия такого, как у противника, — вот что это значит! — запальчиво крикнул в ответ Кирьяков. — Но она не бежит, а отступает!

— Она бежит, говорю я вам! Остановите ее сейчас же!

— Она не бежит, ваша светлость! Вы плохо видите! Остановить ее? Слушаю, ваша светлость!

И, повернув коня в сторону второго батальона, успевшего уже далеко продвинуться в тыл своим маршем, похожим на бег, он скомандовал во весь голос:

— Второй батальон-о-он, стой! Налево кру-у-гом!.. Слушай-а-ай на крауул!

И батальон, остановившись и повернувшись кругом, под ядрами, бороздившими совершенно чистое синее небо, под зловеще певшими пулями бригады Буа слева и взобравшейся уже на крутобережье со стороны Алматамака бригады Эспинаса с фронта, отчетливо, как на параде, взял на караул.

Для ружейных приемов гладкоствольные ружья годились, они пасовали только перед дальнобойными штуцерами.

— Спасибо, братцы! — зычно крикнул Кирьяков, и второй батальон Московского полка, продолжая держать "на краул", не менее зычно ответил:

— Рады стараться, ваше прево-сходи-тельство!

Кирьяков победоносно поглядел на Меншикова и махнул батальону рукой: это означало, что батальон может взять "к ноге", повернуться кругом снова и идти тем же форсированным шагом, похожим на бег, каким он и шел.

Французы смотрели на это зрелище с немалым изумлением. Люди весьма живой фантазии, они могли бы даже подумать, что этот русский батальон отдает им вполне заслуженную ими честь. Они даже перестали стрелять и отнюдь не преследовали уходившие колонны русских.

Продолжали орудийную пальбу только четыре паровых судна союзников, совсем близко от устья Алмы ставшие на якорь. И, должно быть, разглядели оттуда пеструю, яркую группу всадников — Меншикова в окружении нескольких адъютантов. Два ядра

одновременно ударили в эту группу, и лошади испуганно шарахнулись в разные стороны от кровавой, барахтающейся на земле и вопившей массы.

Когда же Стеценко с трудом повернул буланого и подъехал к сраженным, он увидел прежде всего страшно поразившую его чью-то отдельно валявшуюся небольшую ногу в ботфорте, в оборванной и залитой свежей кровью штанине, а возле этой ноги, будто желая добраться до нее во что бы то ни стало, двигались по земле с большой силой белые передние ноги серой в яблоках лошади с развороченным брюхом, в котором крупно клубились кишки.

Стеценко мгновенно вспомнил, что это лошадь капитана Жолобова, и тут же отыскал его глазами: он, человек небольшого роста, запрокинулся за спину лошади, придавившей ему другую ногу. Он был без сознания от большой и внезапной потери крови и от боли. Обычно нервное, иронически умное лицо его и высокий с зализанной лоб были окроплены кровью. Другой сраженный был веселый полковник Сколков. Ему оторвало левую руку выше локтя, но так как тем же самым ядром разбило голову и его лошади, то он упал с нее вперед, а не на бок, однако запутался в стремях ногами. Это он и вопил, как ребенок, забыв, что он — полковник, что он не только адъютант главнокомандующего, но еще и флигель-адъютант, что ему вообще не полагается вопить от боли. При падении он ранил себе и подбородок о пень спиленного дерева: здесь были деревья и кусты, которые могли бы очень пригодиться при защите этой позиции, но владимирцы и суздальцы спилили и вырубили их еще в августе на дрова для своих кухонь.

Быстро спрыгнув с буланого, Стеценко освободил из стремян ноги Сколкова и помог ему подняться, но он не устоял на ногах.

На скрещенных штыках отступавшие белостокцы отнесли в полевой госпиталь и его и Жолобова, пришедшего было в себя, когда его вытащили из-под лошади, но скоро снова потерявшего сознание.

Меншиков ценил серьезного Жолобова и привык видеть около себя всегда живого и остроумного Сколкова, и Стеценко отметил про себя, как, хриповато крикнув им, остальным адъютантам: "Никогда не держитесь кучей!", он понуро, не глядя по сторонам, направил своего

донца в тыл.

Когда, почувствовав запах гари, Стеценко обернулся в сторону Алмы, он увидел сплошное облако дыма, гораздо более темное, чем дым от оружейной пальбы, затуманивший дальние планы. Догадаться было нетрудно, что это горит лежащая как раз против левого фланга позиции деревня Алматамак, подожженная отступавшими русскими частями, чтобы затруднить преследование их французами.

Алматамак горела, горели фруктовые деревья около построек, отчего дым был особенно густ и черен, но это не остановило французов. Напротив, пользуясь дымом, как защитой от выстрелов русских стрелков-штуцерников, засевших за стенками садов, одна из бригад дивизии принца Наполеона подвезла прямо к горевшей деревне свои орудия и задавила немногочисленных уже стрелков сосредоточенным огнем картечи.

И когда остатки этих упорно сопротивлявшихся стрелков были выбиты, бригады принца Наполеона безудержно покатались дальше.

Весь левый фланг позиции на Алме был во власти французов к двум часам дня.

IV

Генерал Канробер, низенький, но сутулый, слабого на вид сложения человек лет сорока пяти, когда-то блестяще выдержал экзамен на первый офицерский чин и не менее блестяще уцелел во время войны в Африке, когда он, будучи командиром роты, неосторожно с небольшою кучкой своих солдат сунулся в каменоломни, где засели вооруженные кабилы.

Все солдаты около него, числом шестнадцать, были тогда или убиты, или ранены, спасся только он один, и за то, что так чудесно мог уцелеть, получил орден Почетного легиона. Подавлял движение кабилов он не менее жестоко, чем Сент-Арно, почему и выслужился, конечно. Но резкий скачок в его карьере создало ему участие в декабрьской бойне^{12} на улицах Парижа, где, впрочем, он вел себя не особенно решительно. Другой французский генерал, Пелисье, говорил о нем: "Хотя зовут его Сертэн (то есть верный), но на него буквально ни в чем нельзя положиться!"

Канробер любил славу и любил женщин, как истый француз любил даже, сидя за картой, строить планы больших сражений, но дивизией в бою он командовал впервые.

Другому же начальнику дивизии армии Сент-Арно, престарелому принцу Жерому Наполеону, никогда не приходилось командовать в бою даже и взводом, не только целой дивизией; поэтому Сент-Арно сам безотлучно находился при нем, как Меншиков при отряде Кирьякова.

И в то время как принц поглядывал кругом с понятным в старике его возраста и физических возможностей любопытством, но совершенно без необходимого в таком серьезном бою воодушевления, полумертвый Сент-Арно волновался ужасно, чувствуя на себе взгляды целой Франции с ее монархом и всего остального мира.

Когда Боске с бригадой д'Отмара оторвался от армии и исчез там, за этими скалами, на левом фланге позиции русских, Сент-Арно очень живо представил, что он погибает, окруженный со всех сторон, — вот-вот погибнет! И он растерялся до того, что даже к лорду Раглану посылал адъютанта, не найдет ли способы он, Раглан, выручить зарвавшегося Боске. То, что на позиции русских ни в какую подзорную трубу нельзя было разыскать никаких укреплений, казалось ему военной хитростью Меншикова: заманить в засаду туда, дальше в эти таинственные холмы и там истребить.

Больное воображение его работало лихорадочно. То, что происходило перед его глазами, представлялось только завязкой настоящего сражения, которое должно будет, по замыслу русских, произойти дальше, в глубине полуострова, где военные суда не в силах уже будут помочь армии французов, неосторожно рвущихся вперед, и армии англичан, которые действуют так медленно именно потому, должно быть, что не хотят далеко уходить вглубь, в местность, которую не удалось осветить порядочной рекогносцировкой: подполковник генерального штаба Ла Гонди был послан Сент-Арно накануне именно с этой целью, но по ошибке принял русских гусар за английских кавалеристов и попал в плен.

Даже когда вся дивизия Боске и вся турецкая дивизия Юсуфа поднялись на скалистый берег и исчезли из глаз Сент-Арно там, в этом

огненном жерле русских позиций, и когда дивизия Канробера с приставшими к ней двумя батальонами дивизии принца уже перешли Алму и толпились под защитой крутого берега, укрываясь от русских ядер, — он считал сражение окончательно потерянным.

Еще больше развинчивали маршала своими рассказами легко раненные, которые в очень большом, как ему казалось, числе уходили в тыл, в лазареты: как всегда бывает в подобных случаях, они преувеличивали силу русского огня, чтобы найти себе сочувствие у начальства.

Одного за другим слал Сент-Арно своих адъютантов к Раглану, прося перебросить на его фланг свои резервы.

Раглан, который по недавнему плану самого же Сент-Арно должен был только терпеливо ожидать, когда — разумеется, очень быстро — будет все кончено на левом фланге, и только потом пустить в дело главным образом свою кавалерию для преследования уходящих русских, — увидел, что сражение ложится всею тяжестью на его армию, хотя ей и не может ничем помочь мощная артиллерия судов. Тогда он решил бросить в наступление против центра русских сил, которые стояли крепко и совсем не думали уходить, дивизию легкой пехоты своего друга, сэра Джорджа.

Пехотная дивизия англичан была в то время равна по численности одному русскому полку. Центр русской армии приходился против деревни Бурлюк. Сады и виноградники этой деревни, в сторону англичан, были заняты немногочисленными командами штуцерников и матросами морского батальона. Но матросы если и стреляли из своих старых ружей, то только наполняли воздух около себя пороховым дымом. На весь двадцатитысячный отряд, занимавший под командой Горчакова центр позиции и правый фланг, приходилось только полторы тысячи штуцеров, но из них почти половина оставалась на всякий случай в тыловых частях. Между тем каждый солдат двадцатитысячной армии Раглана вооружен был штуцером новейшей системы, быстрозарядным и еще более дальнобойным, чем принятый в армии французов.

В полчаса все защитники бурлюкских садов были вытеснены из них частой и очень меткой ружейной пальбой. Оставляя Бурлюк, русские

стрелки подожгли его, так что в долине одновременно горело уже две деревни; сады заволокло сизым и черным дымом; дым ел глаза солдатам, потому что поднявшийся с моря ветер гнал его на русские колонны, построенные к атаке; артиллеристы продолжали свой поединок с редко стрелявшими батареями англичан, совсем не видя цели.

В Бурлюке был мост через Алму. Саперы при отступлении кинулись было разорять его, но не успели этого сделать: мост зорко берегли английские стрелки, — к этому именно мосту направлялась в развернутом строю легкая пехота сэра Джорджа.

Правда, легко можно было перейти у Бурлюка Алму и вброд, но мост представлялся сэру Джорджу совершенно необходимым для перевозки пушек. Он видел издали, как французские канониры помогали лошадям перевозить орудия через речку, стоя по пояс в воде и руками проталкивая вперед колеса. Мокрые канониры, по его мнению, никуда не будут годны в бою.

Берег Алмы был здесь более отлогий и батареи стояли в эполементах, хотя и очень возмущивших генерала Кирьякова своим устройством, но все-таки придававших этой части позиции укрепленный вид.

Как только стройные ряды англичан, красномундирные и ярко и зловеще в этот яркий и зловещий день озаренные пламенем пышно горевшего Бурлюка, появились около моста, в них полетела меткая картечь пристрелянных легких орудий.

Пехотинцы Броуна легли на землю, но это не спасло их от большого урона. Наконец, по одному перебегая, они укрылись за одиноко стоявшим бурлюкским трактиром и оттуда уже отступили снова в виноградники и сады.

Отсюда, таясь за каменными стенками, меткие английские стрелки били на выбор артиллеристов и лошадей. Даже стоявший позади батарей Бородинский полк, теряя одного за другим своих батальонных и ротных командиров, вынужден был отступить. Батареи с остатками людей и лошадей покинули эполемент.

Командир одной из бригад сэра Джорджа, генерал Кодрингтон, упорно желая перейти на тот берег по мосту, а не вброд, снова бросил сюда пять батальонов. Гладкоствольные ружья не годились для обстрела

моста, батареи ушли от берега, — красные мундиры появились, наконец, на южном берегу Алмы.

Горчаков двинул против них в атаку два батальона Казанского полка. Со штыками наперевес, под барабанный бой, дружно, стеною двинулись вниз казанцы. Подъехавшие было снова к покинутым эполементам легкие батареи могли бы засыпать англичан картечью, но казанцы заслонили их своими спинами. В то же время стрелки Кодрингтона встретили казанцев такой меткой стрельбой по офицерам, что в две-три минуты были убиты и командир полка, и оба батальонные, и почти все ротные, и солдаты беспорядочной толпой кинулись назад, к эполементам, а следом за ними в эполемента ворвался один из английских полков, и красное знамя заалело на валу батареи. Два подбитых орудия остались в руках англичан.

Владимирский и Суздальский полки, "старожилы" этой позиции, стояли в резерве: в ближнем резерве — Владимирский, в дальнем, за версту от него, — Суздальский. Владимирский полк поддерживала батарея, стоявшая на холме.

Пули Минье из английских штуцеров залетали иногда и к владимирцам, безвредные уже, как всякие пули на излете. Офицеры и солдаты поднимали их, разглядывали, но не могли догадаться, что это такое и зачем.

— Какие-то бабьи наперстки, глянь! — говорили солдаты.

Артиллерийские же офицеры неуверенно объясняли пехотным:

— Тут, по всей видимости, был какой-то горючий состав в середине, только он, конечно, уже выгорел.

Пехотные спрашивали, не понимая:

— Зачем же все-таки сюда наложен был этот состав?

— Зачем?.. А затем, знаете ли, — тянули артиллеристы, — чтобы в наши зарядные ящики попасть. Попадет такая штучка в патронный ящик — вот вам и взрыв, и все у нас полетит к черту!

Даже и сам командир полка, с Георгием в петлице, полковник Ковалев, рассматривая внимательно "наперстки", только чмыхал в усы, выпячивал губы, пожимал плечами, но объяснить, что это такое, не мог.

Владимирский полк, как и Суздальский, только в августе пришел в

Крым из Бессарабии, но и там против турок не приходилось ему выступать, как и всей 16-й дивизии.

Начальник этой дивизии, генерал Квицинский, виден был впереди рядом с Горчаковым.

Когда пошли в атаку казанцы, полковник Ковалев, разминавший ноги на свежевылезшей травке, прокашлялся, погладил шею, не спеша, но привычно ловко подпрыгнул легким, не ожиревшим еще телом, вскочил в седло и, повернув своего гнедого коня к фронту, скомандовал:

— Господам офицерам занять свои места!

И офицеры стали на фланги, ожидая, когда двинут их полк вслед за казанцами, чтобы закрепить их победу.

Но вот увидели все то, во что не хотелось верить: казанцы, так браво шедшие в атаку, отступали обратно снизу под грохот жестокой пальбы из нескольких тысяч ружей, падали, вскакивали, пробовали двигаться дальше и падали снова, чтобы уже не подняться больше, и могучие лошади батареи, искривив напряженно шеи, дико кося глазами, под крики и удары проволоки мимо владимирцев в тыл орудия.

— Стой, сто-ой!.. Куда-а? Куда вы-ы? Стой! — доносился чуть слышно, как стон, исступленный крик генерала Квицинского, который появился совсем невдали от полка на вороной большой лошади, стараясь перехватить и остановить казанцев.

Но казанцы не останавливались, а дальше, в разрывавшемся клочьями дыму, краснели на валу укрепления английские мундиры.

Барабаны там, у казанцев, неровно и сбивчиво били по чьей-то команде "сбор", трубили горнисты, а перед владимирцами остановился большой вороной конь Квицинского. В руке генерала, как плеть для коня, была зажата и спущена вниз обнаженная сабля; обычно яркое и спокойно-веселое лицо его теперь посерело и стало жестким, белый длинный пушистый правый ус отогнуло не сильным, но упругим ветром с моря, закрывая ему рот, но команда его прозвучала отчетливо и выразительно:

— Первым двум батальонам в атаку!

— Первый и второй батальон... на рру-ку! — поспешно скомандовал Ковалев, одновременно с последними словами своей команды

выхватив из ножен саблю. — Ша-агом марш!

И сразу с места, взяв ружья наперевес, поблескивая черной лакировкой своих металлических киверов, первые батальоны владимирцев двинулись вперед прямо на занятые англичанами эполемента.

Их плотная тысячная масса, идущая строго в шаг, под барабаны, казалась издали всепокрушающей.

Как и все полки дивизии Квицинского, Владимирский полк был настоящим парадным полком. Рослые люди в нем, уроженцы северных губерний, умели плотно во всю ступню ставить ногу, отлично делать ружейные приемы, вызывая этим на инспекторских смотрах непритворное восхищение самых строгих и самых старых генералов; ни один волосок не шевелился ни у кого в строю после торжественной команды "смирно". Все построения роты, батальона, полка проводили они безукоризненно; все мелочи уставов изучены были ими до тонкостей... Неоднократно в приказах по дивизии и даже по корпусу объявлялась благодарность Владимирскому полку за знание службы, и полк знал себе цену. Эти два батальона полка шли, все учащая и учащая шаг, чтобы одним ударом в штыки разметать там все красное, торчащее на валу.

Ружья были стиснуты в руках крепко, до белизны и боли пальцев, и штыки уже чудились воткнутыми в тех, красномундирных, по самые хомутики.

Впереди, почти рядом с Квицинским, прямо сидя на гнедой махистой лошади, ехал Ковалев; батальонные и ротные командиры — впереди своих батальонов и рот; сзади батальонных командиров — батальонные адъютанты; все дистанции соблюдались с наистрожайшей точностью. На штыки жалонеров надеты были красные флажки; осанистый и широкогрудый знаменщик гордо нес полковую святыню — знамя.

А пули навстречу им пели кругом, — чем дальше, тем чаще и гуще, — те самые "наперстки", — пустые в середине, как колокольчики, и потому звонкие.

Одна пуля сорвала георгий с повернувшегося назад полковника Ковалева, другая, следом за ней, пронизала ему грудь навывлет.

В то же время под лошадью адъютанта первого батальона взорвалась граната. Вскочив на дыбы перед тем, как грохнуться на землю, лошадь сбросила адъютанта, поручика, и он очутился как раз перед падающим со своего гнедого коня Ковалевым. Наскоро засунув ему под мундир спереди, к ране, из которой сильно лила кровь, свой платок, поручик, человек неслабый, взял легкое тело полковника, в обхват подняв его, и понес между расступившимися, но все идущими вперед рядами. Солдатам задней шеренги батальона адъютант передал тело полковника, чтобы несли его на перевязочный пункт, но впереди за это время были ранены одни, убиты другие — еще несколько человек офицеров.

Но, обходя упавших, владимирцы шли, как на параде; сзади однообразно били, точно гвозди вбивали в спины, неумолимые барабанщики, а спереди, где уже не было и командира первого батальона, все еще виднелся крупный вороной конь начальника дивизии, то и дело вздрагивающий высокой головой с поставленными торчком ушами.

И вот раздалось, наконец, это: "Урра-а!.." Его только и ждали все, кто еще оставался и жив и не ранен, и кинулись на вал шагов за сто с таким остервенелым криком, с такими искаженными лицами, что красномундирные не вынесли ни этого крика, ни этих лиц и ринулись вниз к реке, очищая занятые эполемента.

V

Когда первая атака сэра Джорджа на позицию Горчакова не удалась и в помощь его дивизии пришлось послать дивизию генерала Леси-Эванса, Раглан поехал сам на передовую линию осмотреть положение на месте.

Русские стрелки в садах южнее деревни Бурлюк были уже сбиты: валялись тела убитых, стонали, пытаясь подняться, тяжело раненные, и Раглан со своим штабом совершенно беспрепятственно переехал вброд через Алму и выбрался на берег как раз в том месте, где должны бы были соединиться отряды Кирьякова и Горчакова, но где совершенно не было никаких русских солдат.

По мере того как развивалось сражение, рассасывался центр армии

Меншикова. Не только все части отряда Кирьякова стягивались к его левому флангу, где ясно с самого начала обозначился замысел обхода его французами, но даже и батареи донцов приказал Меншиков перебросить сюда от Горчакова.

В центре было пусто, и главнокомандующий одной из союзных армий очутился благодаря этому со всем своим штабом на линии русских резервов.

Десятка казаков или полувзвода гусар было бы достаточно, чтобы отрезать эту любопытную кавалькаду и взять ее в плен, и, может быть, совершенно иной ход приняло бы тогда сражение, но судьба часто бывает на стороне дерзких.

Раглан не только высмотрел расположение войск Горчакова, но он видел также и то, что не было известно ни Горчакову, ни даже Сент-Арно, — он видел, что левый фланг армии Меншикова отступает, что французы почти уже закончили свое дело, что остановка только за ним.

Как раз в это время и раздалось раскатистое "ура" владимирцев, и Раглан видел, как они ворвались в укрепление, из которого бежали полки легкой дивизии сэра Джорджа.

Волнуясь, он сказал одному из своих адъютантов:

— Вот здесь, именно здесь, на этом холме, за которым мы стоим, нужно поставить батареи, — обстрелять их во фланг... Скачите сейчас же назад, возьмите хотя бы два орудия и поставьте здесь.

Адъютант поскакал назад, а Раглан проехал еще несколько вперед, чтобы обдумать, как лучше и что именно сделать.

С холма он увидел, что отряд Горчакова расставлен очень разбросанно, потому что был мал для большой позиции, какую волей Меншикова пришлось ему защищать; что слишком большие интервалы между резервными колоннами не позволят резервам второй очереди вовремя подойти на помощь к передовым частям; что артиллерии мало, что она слаба, что она поставлена неумело.

И когда он повернул, наконец, коня, очень обрадовав этим свой штаб, план его был уже готов.

Это был очень простой план: навалиться на передовые части отряда Горчакова всеми дивизиями сразу, с обходом не правого его фланга, а

левого, и раздавить их одним общим ударом.

И когда участник знаменитого сражения при Ватерлоо окончательно остановился на этом плане и рысил к своей армии, чтобы немедленно его выполнить, не принявшие атаки стрелки Броуна, выстроившись длинным и редким двухшереножным строем на гребне спуска к реке, открыли губительную пальбу по владимирцам.

Правда, по команде Квицинского: "Штуцерники, вперед!" — выскочили вперед десятка три штуцерников, но этого было слишком мало; владимирцев расстреливали на выбор; они начинали пятиться.

Когда издали заметил это Горчаков, он, стоявший одиноко, без адъютантов, кинулся сам к остальным батальонам полка, чтобы лично вести их в атаку.

Граната догнала его: она взорвалась впереди его лошади, и та, убитая наповал осколком, опрокинулась навзничь, придавив его боком и спиною.

Подбежали владимирцы, оттащили лошадь, подняли генерала. Старик с минуту стоял, не понимая, что с ним и где он, и глядел на всех нездешними глазами. Но бой шел, пели пули, лопались гранаты, нельзя было этого не понимать долго... Бледный, хромающий, в длинной летней шинели, отчего казался еще выше, чем был, он стоял перед фронтом и кричал то же самое, что недавно звонко кричал Квицинский:

— Третьему и четвертому батальону в атаку!.. Шагом... марш! — и также выхватил саблю.

Один из батальонных адъютантов, поручик Брестовский, спешившись, подвел ему свою лошадь и помог сесть на нее; и так же парадно, как первые два, штыки наперевес, безукоризненно в ногу и строго держа равнение в рядах, пошли вперед и эти два батальона, и если впереди первых двух ехал генерал-лейтенант, то впереди этих — командир корпуса, генерал от инфантерии.

Между тем, как бы ни были малочисленны штуцерники в первых двух батальонах, это были самые меткие стрелки в полку и так же, как англичане, стремились они выбивать из строя нарядных офицеров. Это озадачивало англичан, и если медленно пятились владимирцы, то не наступали и те.

А Горчаков уже подводил беглым шагом свои два батальона, и сквозь беспорядочную пальбу чуткое ухо могло уже уловить мерные удары барабанов к атаке.

Кенцинский за валом батареи крикнул:

— Ко мне!.. Жалонеры на свои места!

И вот за валом, уже густо укрытым телами убитых и тяжело раненных, солдаты поспешно начали строиться к атаке. И еще только подходил Горчаков, как они уже кинулись, огибая вал, с ширококоротым "ура" и штыками наперевес на британцев.

Те не ожидали этого, а может быть, не хотели уже отступать, потому что видели, — и к ним через мост и броды шли на подмогу отборные полки: гвардейские гренадеры, шотландские фузелеры и Cold-stream — гвардия.

Гвардию вел сам герцог Кембриджский, начальник гвардейской дивизии.

Тогда начался жестокий рукопашный бой, которым всегда сильны были русские войска и побеждали.

Рослый и сильный и в большинстве молодой еще народ, владимирцы сгоряча иногда ломали штыки и тогда, обернув ружье прикладом кверху, превращали его в доисторическую дубину и били по головам.

В ряды остатков батальонов Квицинского влились, добежав, свежие батальоны Горчакова, и теперь уже два старых генерала руководили боем.

Но подбегали снизу, от реки, на помощь своим тоже рослые гвардейские гренадеры, мускулистые шотландцы в своем национальном костюме — в круглых меховых шапках, в коротких юбчонках над голыми коленями и со шкурой зверя головою вниз спереди...

Гвардейцы же обходили владимирцев справа, открывая по ним стрельбу во фланг, а слева прямою наводкой начали бить по ним прибывшие на указанные Рагланом места два орудия.

Должен был слезть с лошади Квицинский, раненный пулей в ногу; на ружьях понесли его в тыл.

Вторую лошадь убили пулей под Горчаковым.

Красные жалонерные флажки приняли британцы за батальонные

знамена и, чтобы отбить их, нажали сильнее.

Поражаемые ружейным огнем справа, орудийным слева, владимирцы получили, наконец, от пешего Горчакова приказ отступить.

Да было и время: их осталось всего несколько сот от двух почти тысяч, а офицеров только десять человек от шестидесяти восьми.

Шинель Горчакова была прострелена в шести местах.

В раненого Квицинского, когда несли его в тыл, попала новая пуля, раздробив ему руку и ребро.

Между тем ни Суздальский, ни Углицкий полки, стоявшие в резерве, не шли на выручку владимирцев, так как не получали от высшего начальства такого приказа; артиллерия боялась стрелять во время рукопашного боя, чтобы не попасть в своих.

Наконец, когда владимирцы, теряя все больше и больше людей, отступили, то Углицкий полк, не дожидаясь приказа, сделал то же.

То же самое и в то же время произошло и на крайнем правом фланге, на который вел наступление сэр Колин Камбелл, имевший большой опыт боев в Индии. Но там, вдали от высшего начальства, от генералов Квицинского и Горчакова, все кончилось гораздо быстрее.

Так часам к трем дня главные силы русских отступили по всему фронту.

Между тем левофланговый отряд был остановлен Меншиковым: человек очень самонадеянный, он не хотел поверить сразу в то, что сражение не принесло ему успеха. Он выжидал, чем кончится у Горчакова, хотя не послал к нему никого из своих адъютантов.

Но выжидали также и стрелки Боске, и дивизия Канробера, который был легко ранен в плечо осколками гранаты, и дивизия принца Жерома, успевшая вся перейти на южный берег Алмы.

И только когда показался неудержимо бегущий в тыл Углицкий полк, а за ним на рысях какая-то легкая батарея, Меншиков понял, что надо заботиться только об отступлении в возможном еще порядке и выставлять в арьергард бывшие в резерве полки казаков и гусар.

Глава пятая. Отступление

I

За те неполные два дня, которые провел Стеценко вблизи Меншикова на Алме; он не успел разглядеть его так, как ему бы хотелось.

Этот лейтенант обладал холодной и спокойной натурой наблюдателя, и, если бы он не был лейтенантом, из него мог бы выйти неплохой естествоиспытатель, например, способный часами рассматривать в микроскоп туфелек и амёб в капле застоявшейся воды или структуру нервной системы москита.

Но перед этим спокойным и наблюдательным лейтенантом был не микроскопический организм под стеклом, а главнокомандующий армией и флотом великой державы, на которую напали соединенные и отборные силы двух других великих держав; и если одна амёба способна во всем повторить другую амёбу, смотри на нее сегодня или завтра, через месяц или через год, то перед глазами Стеценко проходили события, не только не безопасные для наблюдения, но еще и такие, которые волновали до боли, проносились стремительно и никогда уж потом не могли повториться.

Когда он заметил вдали, вправо от себя, эту бегущую не вперед, а назад густую огромную толпу солдат, он живо обратился к Грейгу:

— Посмотрите, ротмистр, что это за полк бежит? Или это — целая бригада?

Грейг, казавшийся ему наиболее правдивым и общительным из адъютантов князя, присмотрелся внимательно и вскрикнул:

— Это Углицкий полк!.. Углицкий!..

И тут же, повернув лошадь к Меншикову, сказал строевым тоном:

— Честь имею доложить, ваша светлость. Углицкий полк бежит!

Князь вытянулся на стременах.

— Как бежит? Где?

Вдали он различал предметы уже не совсем ясно. Грейг указал рукою на бегущих, и Стеценко еще только думал, кого из них двоих, бывших к нему ближе других, пошлет князь туда узнать, почему и от кого бегут, как Меншиков, ударив шпорой своего донца, с места рысью помчался наперерез бегущим. Ему и Грейгу оставалось только пришпорить своих коней.

Стеценко удивился, как молодо скакал теперь светлейший. Он, тонкий

во всей фигуре, очень похож был именно теперь, сзади, и так держась на коне, на своего сына, молодого генерал-майора.

Его заметили конные офицеры-угличане. Они заметались около бегущей толпы солдат, и Меншикову не пришлось кричать: "Сто-ой!" Это прокричали другие; толпа остановилась раньше, чем он подъехал. Правда, задние еще напирали на передних, и хотя командир полка — полковник из гвардейцев, поэтому далеко не старый и молодцеватый на вид человек, — раза три, выехав перед полком, прокричал: "Смирно! Глаза налево!.. Господа офицеры!.." — но смирно не становились, и равнения не было, и офицеры не в состоянии были в перемещавшихся ротах занять свои уставные места.

Меншиков подскакал, и Стеценко видел, как он силился что-то такое крикнуть, но от возмущения только открывал и закрывал рот, а полковник застыл с рукою под козырек и с округлившимися серыми глазами навывкат.

— Отрешу-у-у! — вдруг высоким, каким-то неожиданно скопческим фальцетом прокричал Меншиков. — От командования полком... я вас отрешу-у!

— Ваша светлость! — начал было что-то говорить в свое оправдание полковник, но, отвернувшись от него, Меншиков крикнул в первые ряды солдат:

— Песенники вперед!.. Музыканты перед середину полка!

И пока строились роты и занимали свои места офицеры, а песенники, барабанщики и музыканты со своими трубами и бубнами протискивались через ряды вперед или обегали роты с флангов, Меншиков обратился к старому командиру первого батальона со шрамом на щеке от сабельного удара, с курносый простонародным лицом, с владимирским крестом в петлице:

— А что же, ваш начальник дивизии, генерал Квицинский, видел, как вы пустились в бегство?

— Начальник дивизии ранен, ваша светлость... или, может, даже лишен теперь жизни: пронесли мимо нас на перевязочный, ваша светлость! — весь вытянувшись на седле и с застывшей у козырька рукой, хрипавато и подобострастно ответил подполковник со шрамом.

— Ранен?.. А командир вашей бригады генерал Щелканов?

— Говорили так, что тоже ранен смертельно, ваша светлость!

— Как? И Щелканов ранен?.. А князь Горчаков? — уже упавшим голосом спросил Меншиков.

— Не видно было на лошади, когда бежал Владимирский полк, а его сиятельство пошел в атаку с третьим батальоном владимирцев, ваша светлость, убит или ранен, не могу знать.

Меншиков согнулся в поясе, точно под тяжестью большого груза, но, постепенно выпрямляясь, спросил уже негромко:

— Разве владимирцы... владимирцы тоже бежали?.. Опустите руку.

— Так точно, ваша светлость! — Батальонный опустил руку. — Их осталось от полка совсем малая часть — может, только две роты, остальные же погибли в рукопашном, ваша светлость!

С минуту молчал Меншиков, как будто занятый только тем, как выбегали и строились впереди песенники и музыканты.

Но вот он заметил, что у многих солдат совсем нет ружей в руках, кроме того, что почти ни на ком нет ранцев... Он дернул лошадь, повернулся лицом к полковнику и закричал вдруг снова пронзительным фальцетом:

— Ваш полк стоял в ре-зер-ве, полковник... в бою с неприятелем не был и потерял оружие!.. За это я вас предам суду-у, знайте это!

Стеценко заметил, что у князя, обычно бескровного, вдруг слабо покраснели впалые щеки, уши и нос, когда вслед за этим криком он небрежно бросил музыкантам презрительный приказ:

— Играть церемониальный марш!

И Углицкий полк под торжественные звуки марша парадов двинулся мимо князя, Стеценко и Грейга в том же направлении, в каком бежал: безоружный, он не годился даже и для того, чтобы прикрывать отступление армии.

Не понимавшие, что это и зачем, все офицеры, начиная с самого командира полка, при первых звуках церемониального марша выхватили сабли и взяли их "на руку", чтобы, не доходя столько-то шагов до князя, взять их "подвысь" и затем опустить "на караул".

Но князь не смотрел уже больше в сторону проходившего полка: он даже хвостом повернул к нему своего донца. Он говорил Грейгу:

— Поезжайте, ротмистр, узнайте, что такое с князем Горчаковым и кто

там сейчас его замещает, если он... ранен.

— Слушаю, ваша светлость!

— И в каком порядке там проводится отступление, — сделал ударение на последнем слове князь.

Грейг повторил:

— Слушаю, ваша светлость!

И вот уже точеные белые ноги его рыжей англизированной кобылы Дэзи замелькали, огибая задние ряды проходившего полка, в том направлении, откуда летели еще английские гранаты и ядра, провожавшие беспорядочные толпы русских солдат.

II

Лорд Раглан, проехав через вполне уже безопасный теперь от русских орудий и ружей бурлюкский мост, направился к сэру Джорджу, чтобы поздравить его с победой.

Сакли аула строились из камней на глине, полов в них не было, горели только деревянные накаты потолка, который в то же время служил и крышей, потому что, смазанный сверху глиной с навозом, не пропускал дождевой воды.

Дым от горевшего навоза был очень удушлив, однако пожара никто не собирался тушить, хотя воды в Алме было для этого довольно: никому не нужен был горевший аул, от которого войска должны были направиться дальше, отрезать отступавших русских и перебить всю армию Меншикова, если она не сдастся.

Но только что проехав мост и подымаясь на другой берег Алмы, Раглан был испуган горами страшно искалеченных тел стрелков дивизии сэра Джорджа.

Около них возились уже санитары и врачи, выискивая заваленных трупами раненых, которых клали пока отдельно, чтобы после перенести на корабли, так как походные госпитали, хотя и хорошо оборудованные, не были взяты на военные транспорты: они остались в Варне.

Оторванные ядрами головы страшно глядели на старого Раглана открытыми глазами. Иные тела были без ног, другие без рук, иные были разорваны так, что трудно уж было различить что-нибудь в

кровавой массе. У иных черепа были разможены не то осколками гранат, не то прикладами русских пехотинцев, и мундиры были обрызганы сплошь белыми сгустками мозга...

Тела убитых офицеров складывали отдельно по полкам, и Раглану доложено было, что одного только 23-го полка дивизии Броуна найдено восемь убитых офицеров, между ними и полковник.

— Боже мой! — Раглан поднес руку к глазам. — Такого количества убитых офицеров не было ни в одном нашем полку даже и в битве при Ватерлоо!

Потом он узнал, что ранен начальник дивизии, генерал сэр Леси-Эванс, что под сэром Джорджем была убита лошадь... Встретивший его сэр Джордж имел удрученный вид.

— От моей дивизии не останется ничего, — сказал он Раглану, — если дальше нас ожидает такое же сражение!.. И сколько великосветских семейств должны будут теперь надеть траур!.. Убит капитан Монк... Убит сэр Вильям Юнг... Лорд Читон ранен смертельно... У меня не хватает мужества назвать их всех...

— Как? Неужели и лорд Читон?.. Это печально! Это очень печально, дорогой мой друг! — Раглан покивал головой. — Я никак не ожидал, чтобы русские с их никуда не годными ружьями могли так ожесточенно сражаться! Но у нас есть еще впереди задача их отрезать.

— Отрезать? Да, конечно... Но это, может быть, гораздо труднее, чем заставить их только очистить позиции. Притом же четвертый час уже: скоро начнет смеркаться. А успеем ли мы сделать это до темноты? У того, кто стремится уйти от гибели, вырастают быстрые ноги... Кавалерия наша может быть пущена вслед русским, но кавалерии у Меншикова впятеро больше, чем у нас... Будут ли шансы на успех?

— Да, я уже думал об этом, вы правы, конечно. Мы достаточно сильны, чтобы их победить еще и еще раз, но для преследования их нужны свежие силы. Может быть, задачу эту возьмет на себя Сент-Арно... Тем более, что потери его, кажется, гораздо меньше наших.

Между тем он уже поднялся на гребень, за которым густо, кое-где даже не только в два ряда, а грудями лежали убитые русские.

— О-о, как много они потеряли!.. Очень много, да, очень много! — с

торжеством в голосе протянул Раглан, оглядывая место ожесточенного рукопашного боя.

— Приблизительно вдвое больше, чем мы, — уточнил сэр Джордж.

— Да, не меньше... не меньше, чем вдвое... Но присмотритесь — они лежат головами к линии нашего фронта... Если только их не напоили пьяными перед боем, то это... это наводит меня на размышления... Это — противник очень серьезный, кто бы ни говорил обратное, как это делают наши газетные писаки... Очень серьезный, очень серьезный... И ведь мы шли на совсем не укрепленную позицию, а Севастополь — первоклассная крепость. Для меня ясно по этому первому сражению, что она нам будет стоить дорого, очень дорого, мой друг! Сколько взято знамен и орудий?

— Орудий только два из двенадцати, какие стояли в этом эпизоде... В плену у нас будет один генерал и много офицеров, все раненые, впрочем, так что их надо еще лечить... Знамен нами не было взято... Пленных солдат, тоже раненых, наберется, пожалуй, семьсот, восемьсот.

— Вот видите, какие скромные трофеи! Ни одного знамени и всего только два орудия!.. Нет, русские — противник очень серьезный!.. А насчет пленных я, знаете, думаю так: генерала и офицеров мы, соблюдая международную вежливость, возьмем к себе на госпитальное судно, а раненых солдат, пожалуй, вернем обратно их отечеству. У нас, кажется, мало будет медиков и для своих раненых, а для нескольких сот русских надо отрядить целый транспорт и приставить к ним большой штат хирургов. Нет, это нам не по средствам. Самое лучшее — отправить их в Николаев или в Одессу. Пусть со своими ранеными возятся сами русские.

А русские разбитые силы в это время уходили своими плотными каре как бы в строго выдержанном шахматном порядке. Британские орудия, занявшие открытые места неподалеку от заваленных трупами эпизодов, пускали им вслед снаряды, но кое-где замечались уже недолеты.

Присмотревшись внимательно к этим плотным удаляющимся каре, Раглан добавил:

— Все-таки они представляют собой еще очень сильные войска. Лорд

Лукан рвался ударить им в тыл, и я разрешил ему это, но лучше будет отозвать его обратно. Кавалерии у нас мало, она нам еще может пригодиться в будущем. Нам же надо будет заняться своими ранеными и похоронить, как должно, убитых.

Когда были подсчитаны потери в дивизиях Броуна и Леси-Эванса, среди гвардейских гренадер и шотландских стрелков, Раглан написал донесение военному министру, герцогу Ньюкестльскому о "сражении при ауле Бурлюк". Донесение это было составлено скупым на краски, чисто деловым языком. Потери были показаны в две тысячи солдат, сто четырнадцать сержантов и девяносто шесть офицеров. Упомянуто было о двух орудиях и пленном русском генерале Щелканове.

В то же самое время писал свое донесение самому Наполеону Сент-Арно о "победе на реке Алме", начиная торжественно и высокопарно, как это было свойственно ему, бывшему актеру Флоридалю: "Sire! Le canon de Votre Majeste a parle..."{13}

И если Раглан силы русских, стоящие против английских, называл равными английским, то преувеличение тут было небольшое. Сент-Арно, донося о всем вообще сражении, как будто и войска Раглана были под его командой, исчислял силы русских в сорок пять тысяч, восемьдесят русских орудий выросли в его донесении в сто восемьдесят, а совершенно не защищенная окопами позиция оказалась "покрытой страшными редутами, которые были взяты только благодаря беспримерной храбрости французских полков, строго выполнявших предназначения своего главнокомандующего".

Излагая последовательно и сухо ход сражения, Раглан ни разу не упомянул о себе лично. Полумертвый Сент-Арно, находившийся все время в почтительном расстоянии от русских пушек, говорил только о себе.

Зуавы Боске возле деревни Орта-Кесэк, лежащей на дороге из Севастополя к Алматамаку, захватили беспечно подъезжавшую во время боя к русской позиции карету Меншикова, в которой сидел писарь, везший кое-какие чистые бланки и неважные текущие бумаги на подпись князю. И об этой карете в торжественно-победном тоне доносил своему монарху маршал: "Я захватил карету князя Меншикова! Я взял ее с его портфелем и перепиской!.. Я

воспользуюсь драгоценными данными, какие там найду!.."

В руках французов остался тяжело раненный командир одной из бригад дивизии Кирьякова генерал Гогинов, о чем так же пространно и высокопарно писал Наполеону маршал.

А мадам Сент-Арно, с живейшим интересом наблюдавшая издали великолепную картину боя, вечером, не желая подвергать себя неудобствам бивуачной жизни, перебралась на корабль "Наполеон" в свою каюту.

О возможности преследования русских Раглан ничего не писал "милорду герцогу"; но Сент-Арно заканчивал свое донесение словами: "Если бы у меня была конница, ваше величество, армия князя Меншикова перестала бы существовать!"

III

Телеграф на мысе Лукулл сделал около двух часов дня свою последнюю передачу о том, что неприятель наступает на алминскую позицию по всему фронту. Но еще за час до того пушечная пальба была отчетливо слышна в Севастополе: поверхность моря передает звуки дальше и ярче, чем сухопутье.

Адмирал Корнилов, только что начавший было обедать, вскочил из-за стола, взял с собою обедавшего у него инженер-подполковника Тотлебена, незадолго перед тем присланного Меншикову Горчаковым 2-м из Бессарабии, и поехал верхом по знакомой уже ему дороге на Алму.

Горчаков оценил Тотлебена как инженера на Дунае, при осаде Силистрии, где он сложной системой подземных ходов вплотную подошел к передовому укреплению Араб-Табия и взорвал его по всему фронту.

Но осаду Силистрии приказано было снять, и Горчаков направил этого способного инженера в Севастополь. Однако непоколебимо уверенный в том, что из-за позднего времени года и по другим причинам союзники в Крым не пойдут, Меншиков не хотел даже думать ни о каких работах по укреплению Севастополя с суши. Только после 30 августа Корнилов вспомнил Тотлебена, этого флегматичного на вид, круглолицего офицера, который все жаловался на плохое сердце, но

работать мог день за днем, по двадцать часов в сутки. Скоро Тотлебен сделался его ретивым помощником.

Сражение уже кончилось, когда они подъезжали к Алминской долине; им навстречу шла уже разбитая армия, вид которой всегда бывает сумрачен, даже если музыкантам и приказывают играть церемониальный марш.

Сумрачен был и сам Меншиков, который ехал верхом, хотя у него и побаливали ноги: его карету, трофеей его победителя, облюбовала себе для дальнейшей прогулки к Севастополю мадам Сент-Арно.

Первое, что услышал от Меншикова Корнилов, было то, что он потерял двух своих адъютантов.

— Капитан Жолобов погиб, бедняга! — сказал он грустно. — Я заезжал проведать его на перевязочном; он был еще жив, но уже совершенно безнадежен. А Сколкову лекаря обещают жизнь, однако без руки какая же может быть у него карьера!.. Впрочем, генерал Скобелев и безрукий стережет Петропавловскую крепость...

Помолчав, он продолжал с гримасой большой брезгливости:

— Кирьякова же я ни в коем случае не хочу больше у себя видеть: это — пьяный шут и болван! Вся сегодняшняя неудача наша исключительно от него!.. Если военный министр назначит его куда-нибудь в резервную часть, например в Киев, я буду очень доволен... Это положительно какой-то шут гороховый, а не начальник дивизии!

Корнилов хотел узнать, велики ли потери в полках и какие из полков наиболее пострадали, но ждал, когда об этом заговорит сам князь. Он же больше молчал, чем говорил, что было вполне понятно в его положении.

— А каков Петр Дмитриевич! — Меншиков покачал головой. — Что это — задор, какой был бы только безусому подпоручику к лицу, или в его корпусе совсем и не ночевала дисциплина?.. Командующему главными силами бросать общее наблюдение за ними и во главе батальона идти самому в атаку, что это такое? А батальонный командир на что?.. Или батальонные должны идти в атаку впереди взводов? Очень странно и непонятно! Человек по седьмому десятку... полный генерал, а?! Его счастье, что остался хоть в живых, а генерал Квицинский — тоже впереди батальона пошел в атаку! Может, и не выходит! Что же они

оба думали, что за это я их к награде должен представить? Нет, не представляю!

Когда подъезжали к Качинской долине, в которой предусмотрительно были оставлены обозы армии, Корнилов спросил:

— Как вы думаете, Александр Сергеевич, не двинут ли они теперь свой флот к Севастополю, чтобы бомбардировать его на рассвете или даже ночью?

— Да, вам, конечно, надо ехать сейчас же назад и быть наготове ко всяким неприятностям... А я уж останусь при армии и заночую здесь, при обозе, — устало сказал Меншиков. — А чтобы неприятельский флот не ворвался в бухты, я думаю, надо бы затопить несколько старых судов на выходе из Большого рейда...

— Как так — затопить несколько судов? — ошеломленно повторил Корнилов.

— Обратить бухту в закрытое озеро — это единственно возможный выход из нашего положения... А вам, полковник, — Меншиков повернулся к Тотлебену, — вам надобно сделать вот что... Неприятель будет двигаться вдоль берега, как он и двигался, и, конечно, придет к Северной стороне, — это неизбежно. Найдите на Инкерманских высотах позицию для нашей армии такую, чтобы можно было взять неприятеля во фланг именно тогда, когда он будет подходить к Северной стороне. Форты Северной стороны будут у него с фронта, армия — с левого фланга... Оборону же Северной стороны, Владимир Алексеич, я поручаю вам.

Корнилов был так изумлен предложением затопить суда при входе на Большой рейд, то есть обресть флот на полное бездействие, что не понял и последнего поручения князя.

— Оборону Северной стороны? — переспросил он. — Какими же силами могу я оборонять семиверстную линию, если вся армия будет под вашим командованием на Инкермане?

— Возьмите матросов с судов в дополнение к резервным батальонам... По моим подсчетам, у вас может составиться тысяча десять.

— Эта цифра может составиться только тогда, если я возьму с судов почти всех матросов, Александр Сергеевич!

— Я именно об этом и говорю, — подтвердил князь. — Кроме того, вот

еще что: нужно послать фельдъегерем к государю с донесением о сегодняшнем деле ротмистра Грейга... Ротмистр Грейг! — крикнул он назад, так как адъютанты его ехали на приличной дистанции. — Вы назначаетесь фельдъегерем к государю, — обратился князь к штаб-ротмистру, когда тот подъехал.

— Я, ваша светлость? — Грейг испуганно поглядел на него.

— Да, мне кажется, что вы это сделаете лучше, чем кто-нибудь другой. Я не знаю, получите ли вы за это очередную награду, но... во всяком случае хорошо сможете доложить государю, что вы видели и знаете... Прежде всего, конечно, скажете о том, что я нуждаюсь в самой спешной присылке подкреплений... Что армия противника велика, снабжена прекрасным оружием, но что если мы в самое ближайшее время, совершенно незамедлительно, получим корпус свежих войск, то сбросим неприятеля в море... Вот, Владимир Алексеич, вы возьмете его с собой, дадите ему необходимые инструкции и бумаги, и завтра же утром он должен выехать в Петербург... Свое донесение государю я напишу сейчас и пришлю вам с Исаковым...

Когда Корнилов, Тотлебен и Грейг, простившись с Меншиковым, отъехали две-три версты от Качинской долины, где войска расположились бивуаком на ночь, Грейг заметил на боковой дороге смутные в густых сумерках силуэты длиннорогих украинских серых волов, запряженных по несколько пар в три подводы, причем на каждой подводе было что-то длинное, черное и, видимо, очень тяжелое. Около же подвод, покрикивая на волов, шли толпою матросы.

— Что это может быть такое? — озадаченно самого себя, но вслух спросил Грейг, а Корнилов ответил на его вопрос:

— А-а! Это судовые орудия... Я их послал князю еще рано утром, а они только теперь доплелись сюда, когда в них нет уже надобности... Поезжайте, пожалуйста, к ним, голубчик, скажите, чтобы возвращались назад... чтобы оставили их на Северной стороне... Они там сослужат свою службу.

— А государю я должен буду донести и о том, как у нас перевозят орудия, ваше превосходительство? — не без насмешки спросил Грейг,

поворачивая коня.

— Отчего же не доложить и об этом? Государь должен знать и то, какие у нас способы перевозки тяжелых орудий, — ответил ему Корнилов.

Подполковник Тотлебен, державшийся все время очень молчаливо, вдруг отозвался на это с большим оживлением:

— Да, государь должен знать правду! Не с парадного подъезда, а с заднего крыльца государь должен знать все о положении Севастополя! И что перевозочных средств оч-чень мало, и что инженерное имущество оч-чень бедное, и что войск оч-чень мало, и что оружие оч-чень плохое — все это должен сказать государю ротмистр Грейг. Он должен иметь мужество сказать это! Это есть его долг!

— Я уверен, что у Грейга мужества на это хватит, — сказал Корнилов, — но... будем молиться богу, чтобы хватило мужества и у князя не настаивать на истреблении своего же флота! Я думаю, что это вырвалось у него под влиянием неудачи... Он очень расстроен... А? Вы это заметили?

— Как знать, — уклончиво ответил Тотлебен. — Когда Геркулес бросал Антея на землю, земля Антею возвращала все его прежние силы... Если матросы наши хороши на море, то тем лучше они будут на суше...

— Матросов посадить в окопы? — крикнул Корнилов.

— Конечно, это только в случае крайней необходимости, ваше превосходительство, — поспешил смягчить свои слова Тотлебен.

— Матросов засадить в окопы — это все равно, что художников заставить красить заборы!.. Нет, моряки слишком дорогой вид войска, и они сделают для защиты Севастополя то, что их учили делать! И сделают это именно на море, а не на суше!

IV

Как только стемнело, ничего не евшие и не пившие за целый день солдаты, вдобавок еще, как это было в нескольких полках, бросившие тяжелые ранцы и сухарные мешки, разбрелись по Качинской долине в виноградники и сады: зрелое и незрелое, все поедалось без разбору.

Слышалось только повсюду, за невысокими каменными стенками и плетнями, как отрясались деревья, как градом падали наземь яблоки и

груши, как перекликались друг с другом и переругивались солдаты, а фельдфебеля на привале около построек кричали неистово:

— Пе-ервая рота Бородинского полка-а, сюда-а-а-а!

— Пятая рота Суздальского полка-а, сюда-а-а-а!

— Восьмая рота Московского полка-а, сюда-а-а-а!

Это последнее "а-а-а-а!" тянулось до бесконечности. Конечно, голоса у фельдфебелей были разные, — у кого бас, у кого звонкий тенор, — но трудно было все-таки различить в темноте, кое-где только слабо пронизанной огоньками непышных костров, свой ли фельдфебель кричит, или чужой, и солдаты, собираясь на крики, которые неслись со всех сторон, часто ошибались, попадали не только не в свою роту, а даже в чужой полк, и до полуночи почти бродили зря, а после полуночи барабанщики по всему лагерю ударили сбор, потому что Меншикову не спалось, — беспокоила мысль о глубоком обходе, охвате, даже о десанте противника под самым Севастополем, оставшимся без армии: представлялось совершенно необходимым к рассвету довести войска до Инкерманских высот.

И вот, то и дело натываясь на кусты карагача и дуба, объединенные за лето козами и потому колющие, отводя душу руганью, двинулись в темноте дальше совершенно перемешавшиеся местами части — просто толпы солдат, подгоняемые единственным желанием добраться до кухонь, когда придут, наконец, на место. Дальше, в лесу, совершенно перепутались и перемешались части, так что утром, едва забрезжило, когда дошли до Бельбекской долины передовые отряды, пришлось остановить их, чтобы разобраться по ротам, батальонам, полкам...

Но перед тем как разобраться, молодые офицеры и солдаты вкуче и влюбое разгромили виноградники и сады, чтобы уж ничего не досталось следом идущим французам.

А часам к девяти утра с Северной стороны на Южную через Большой рейд начали перевозить раненых, которые могли идти сами и шли впереди войск небольшими командами. Так как среди них не было начальства, то они и не знали, куда именно следует им направиться. Они появлялись толпами в наиболее сытном месте города — на базаре, где были харчевни и сидели торговки с булками, студнем, гороховым киселем, грушевым квасом. Торговки сердобольно роздали

голодным раненым все свои товары, но подходили новые толпы усталых, измученных, закопченных пороховым дымом, с кровавыми повязками на руках, головах, иногда даже на ногах: ковыляли, но двигались — и глядели молящими глазами на базарную снедь.

Харчевни закрылись; торговки ушли; раненые разбрелись по улицам, просили Христа ради у прохожих. И скоро весь Севастополь уже знал, что армия с неприятелем справиться не могла, что и остановить его была не в силах, что она бежала, а он идет за нею следом и вот-вот придет.

Одна старая грудастая боцманка с Корабельной, завидев юного и тонкого подпоручика, шедшего по улице без каски, расстановисто сказала ему, покачав головой в коричневом чепце:

— Что-о, длинноногий! Так от француза лататы задал, что и каску свою потерял? На мой чепец возьми, накройся!

И, пожалуй, бросила бы ему свой чепец, если бы подпоручик не юркнул от нее в переулок.

Жены офицеров Бородинского и других полков, заранее нацепив траурные ленты на шляпки и черный креп на рукава и с готовыми уже слезами, кидались на улицах ко всем офицерам и солдатам, стремясь узнать что-нибудь о своих мужьях.

Кто-то пустил слух, что гражданскому населению будут раздавать оружие для защиты Севастополя, и потому порядочная толпа сошлась к Екатерининскому дворцу и другая к дому адмирала Станюковича; но вместо ружей выдали кирки и лопаты и под командой саперов повели рыть новые укрепления.

Матросы за нехваткой лошадей сами тащили орудия с судов на бастионы.

Все жалующийся на плохое сердце и в то же время неутомимо и методически работающий, Тотлебен размечал места для пехотных полков и батарей на Инкерманских высотах.

Глава шестая. Смертный приговор флоту

После того как Корнилов простился с Меншиковым, отъехавшим в сторону, он подозвал к себе лейтенанта Стеценко.

Стеценко думал, что адмирал берет его снова в свой штаб, так как сражение окончилось, но Корнилов сказал ему несколько пониженным заговорщицким голосом:

— Пожалуйста, сделайте для меня вот что: разыщите, где идут морские батальоны, — сколько бы людей в них ни уцелело, — и чтобы они шли, не отдыхая, к Северной пристани, поняли? Я дам распоряжение, — их немедленно перевезут на свои суда... А там — *coute que coute*{14}.

Стеценко сказал, конечно: "Есть, ваше превосходительство", — но совершенно не понял, зачем понадобились адмиралу морские батальоны, вошедшие в состав сухопутной армии; подумал, что об этом уже договорился он с князем, и, только успев сказать другому адъютанту — Панаеву, что послан Корниловым, направился в тыл.

Однако в густом потоке идущих в темноте войск не только трудно было найти два морских батальона, мудрено было даже пробиться назад: долина Качи была слишком узка и вся сплошь занята садами и саклями, оставалась для прохода целой армии только по-восточному узкая улица аула.

Часа два блуждал Стеценко, пока нашел, наконец, командира одного из батальонов, капитана 2-го ранга Надеина, и передал ему приказ адмирала.

— Это, конечно, приказ князя, только переданный через адмирала? — спросил Надеин.

— Иначе и быть не могло, конечно, — ответил Стеценко.

Надеин отозвался на это шутливо:

— Китайский мудрец сказал: лучше идти, чем бежать, лучше стоять, чем идти, лучше сидеть, чем стоять, и лучше быть дома — в Севастополе, чем черт знает где! Только двадцать минут привала, и мы выступаем на Северную.

Но опередить остальную армию морским батальонам не удалось: когда Стеценко вернулся к князю, он уже поднял полки с бивуака и сам сажился на лошадь. Панаев передал лейтенанту, что Меншиков хотел послать его вместо полковника Исакова с наскоро написанным

донесением царю, которое должен был отвезти Грейг, и ему пришлось сказать, что он, Стеценко, послан Корниловым с каким-то своим поручением в тыл.

— Вы где были, лейтенант? — мрачно спросил Меншиков, едва разглядев при потухающем костре Стеценко.

— Выполнял приказ адмирала Корнилова, ваша светлость!

— Ка-кой же та-кой приказ адми-рала Кор-нилова? — сознательно или нет, но как будто бы даже гнусаво, точно простуженно, проговорил князь, и Стеценко ответил, уже запинаясь:

— Относительно двух морских батальонов... чтобы они незамедлительно шли к Северной пристани... откуда их должны будут перевезти на свои суда, ваша светлость!

— Вот ка-ак!.. Странно, — протянул так же гнусаво князь. — Я-а лично такого распоряжения не давал!

И Стеценко понял, наконец, что в отношениях между главнокомандующим и начальником штаба флота, между двумя генерал-адъютантами что-то не все и не совсем ясно.

Однако Меншиков не сказал больше ни слова о двух морских батальонах. Он, правда, вообще стал очень молчалив после сражения. Стеценко не заметил в нем накануне боя открытой уверенности в победе; но теперь он видел, что поражение если и представлялось ему, то далеко не в таком виде и не с такими потерями.

Он пробовал сам угадать дальнейший план действий, который строился вот теперь, ночью, для всей этой массы людей, для всего населения города, для будущего ведения войны, для сбережения флота, для чести России, — строился и рос в этой самоуверенной почти семидесятилетней голове.

Но, несмотря на свойственную молодости способность к быстрому распределению каких угодно средств и сил, не мог он придумать ничего больше, кроме как поставить всю армию на бастионы.

От Бельбекской долины армия шла уже по двум дорогам, чтобы скорее добраться до бастионов Северной стороны, и все-таки едва к девяти часам утра первые эшелоны появились в виду этих бастионов.

И Стеценко встревоженно вглядывался в морскую синь, не скопляется ли вновь, как он уже видел у соленых озер, армада союзников и

здесь, перед Большим рейдом. Но море было пустынно; виднелись только два пароходных дымка обычных судов-наблюдателей. Город же издали казался совершенно спокойным... Город, которому приготовлена была волею всего только нескольких людей, имеющих власть, самая злая участь, сверкал теперь, утром 9 сентября, яркой белизной домов, чуть тронутый кое-где позолотой садов, золотыми куполами и крестами церквей... Нарядный, кокетливый даже, был у него вид, у этого Севастополя.

Подозвал к себе Стеценко Меншиков. Под глазами князя синее, заметнее стали мешки, чернее круги; все лицо еще более осунувшееся и желтое, чем всегда. Голос хриповатее и суше.

— Сейчас же переедете на Южную сторону, — сказал князь, — найдите адмирала Корнилова, передайте ему, что я приказал все средства флота и порта обратить на перевозку войск на Южную сторону...

— Есть, ваша светлость! — бодро ответил Стеценко, довольный тем, что план действий князя оказался отгаданным им, что он все же был единственным возможным планом: вся армия становилась гарнизоном крепости.

— Узнайте также, уехал ли Грейг, и явитесь потом ко мне вместе с Исаковым... Кроме того, еще вот что: мы везем до ста человек раненых офицеров. Для переноски их в госпиталь чтобы высланы были носилки.

Несмотря на то, что переживания боя и бессонная, проведенная большею частью на коне ночь не могли не отразиться на лице князя, все-таки Стеценко заметил теперь в нем спокойствие, которое он так часто терял раньше, во время отступления полков.

Отъехав от князя, Стеценко довольно игриво подумал даже, что в такой стране всевозможных уставов, правил и предписаний начальства, как Россия, должен быть написан и издан — с высочайшего разрешения, конечно, — устав для главнокомандующих соединенными силами армии и флота, с точным указанием, как должны вести себя они во всех предусмотренных случаях, то есть не только при несомненной победе, но и при возможном поражении тоже. В уставе же этом должна быть и такая статья: "Если обнаружится из

донесений арьергардных частей, что неприятель не гонится за отступающей армией по пятам и не стремится ее обойти и отрезать, то главнокомандующему разрешается вздохнуть свободно и стать на некоторое время спокойным".

II

Когда Стеценко перебрался на Южную сторону, то поехал сначала на квартиру Корнилова, но там адмирала не оказалось. Удалось узнать только, что он на военном совете, который созван по его распоряжению в кают-компанию корабля "Великий князь Константин". Корнилов, вернувшись из поездки часов в десять вечера, до полуночи подготавливал Грейга к его обязанностям фельдъегеря и снабжал его нужными бумагами. Потом, когда Исаков привез донесение Меншикова царю, они ужинали и разошлись поздно.

Но даже и в те немногие часы, которые оставались для сна усталому адмиралу, заснуть он не мог, а в восемь часов утра он разослал приказ флагманам флота и капитанам кораблей явиться на совещание. Если уставы для главнокомандующих складывались только в мозгу лейтенанта Стеценко, то отношения между начальствующими и подчиненными сложились уже очень давно.

Вице-адмирал Корнилов был только начальником штаба Черноморского флота, притом он был еще молодой вице-адмирал: старше его по службе считались и Станюкович, и Нахимов, и командующий флотом Берх.

И если Станюкович и Берх — оба глубокие старики, не получили приглашения на совет, то Нахимов был приглашен, остальные же адмиралы и капитаны 1-го ранга получили просто приказ явиться.

Вопрос, который волновал Корнилова, был действительно слишком серьезен для того, чтобы он решился на такой шаг, не предусмотренный уставом: вопрос этот был о флоте.

И поскольку речь должна была идти о флоте — о самом насущном для моряков, а военный совет был делом совершенно новым для людей, привыкших получать только приказания и отвечать на них коротким, как выстрел, "есть!", то все приглашенные явились в парадной форме — в вицмундирах и шляпах.

Обширная кают-компания корабля вполне вместила всех флагманов и капитанов 1-го ранга, и если Нахимов, расположась в кресле рядом с Корниловым, тут же принялся набивать табаком свою трубку, то другие, младшие чином и заслугами, не решились этого сделать: останавливали их не только торжественность минуты, но и бледное, с воспаленными глазами, очень посуровевшее лицо Корнилова.

Расселись за длинным столом, Корнилов — на своем почетном председательском месте. В руке у него был карандаш в серебряной вставочке, на столе перед ним записная книжка.

Голос его был глуховат, когда он начал:

— Господа! Вы уже знаете, я думаю, что остановить натиск армии союзников — армии вдвое сильнейшей, чем наша, и вдесятеро лучше снабженной оружием, — нашим войскам не удалось, что можно было предвидеть и раньше. Войска наши отступают к Севастополю; вчера вечером я их оставил на Каче... Его светлость, командующий армией, передавал мне, что ждет нападения союзников на Северную сторону, а сам предположил занять фланговую позицию на Инкерманских высотах. Но силы неприятеля велики, поэтому Сент-Арно, очевидно, будет действовать так же решительно, как действовал на Алме. Допустим, что он займет южные Бельбекские высоты, надавит на Инкерман и оттеснит нашу армию... Ведь наша армия имеет теперь уже гораздо меньшую численность, чем на Алме. Пусть даже неприятель понес такую же потерю, как и мы, одно дело потерять, скажем, шестую часть армии, другое дело — двенадцатую. Второе можно перенести незаметно, а первое очень чувствительно. Вполне допустимо также, что и настроение наших войск несколько подавлено неудачей сражения, — предположим и это, с тем мужеством предположим, с каким мы приучены глядеть в лицо опасности... И вот представим: неприятель преодолел все препятствия, поставил свои батареи на высотах и начал действовать по кораблям Павла Степановича, — он кивнул головой в сторону Нахимова. — Чтобы не потерять эти суда, придется переменить позицию. Но ведь в то же время и корабли противника будут стоять наготове и близко, чтобы прорваться на рейд, а сухопутная армия атакует северные укрепления, где оборонительные работы еще далеко не закончены.

Вот, господа, какая картина рисуется мне в самом близком будущем. Что, если северные укрепления будут взяты, несмотря на все геройство их защитников? Тогда, господа... тогда, — дрогнул голос Корнилова, — Черноморский флот наш очутится в такой же ловушке, как турецкий в Синопской бухте, но погибнуть может гораздо бесславнее, чем погибла турецкая эскадра, потому что та эскадра сражалась, а наша будет просто расстреляна!.. Избитый, израненный, если даже он попытается тогда выйти в море, то ведь он не пробьется через кордон гораздо сильнейшей союзнической эскадры... И что же ему останется тогда? Не будем ни секунды останавливаться на этом подлом слове "плен"! В плен к нашим врагам не попадет, конечно, наш доблестный флот! — Корнилов ударил карандашом о стол. — Он, конечно, погибнет в бою, но гибель-то эта будет совершенно бесполезна для дела защиты и Севастополя и всего Крыма!..

Корнилов приостановился, обвел всех воспаленными, как будто зажженными изнутри глазами и продолжал голосом, более строгим и суровым:

— А между тем, господа, мы еще могли бы несколько поправить большую, огромнейшую ошибку, нами допущенную в первый же день, когда стало известно о движении неприятельских сил на Евпаторию. Тогда была у нас возможность — блестящая, я бы сказал, возможность — напасть всему нашему флоту на суда, перегруженные десантом, на суда с очень большой осадкой...

— Но ведь тогда был штиль, Владимир Алексеич, — перебил Нахимов.
— Ведь мы об этом думали-с тогда, думали с вами вместе, но штиль, штиль помешал-с!

И Нахимов побарабанил пальцами левой руки о пальцы правой, что у него означало: "Ничего не поделаешь!"

Но Корнилов блеснул в его сторону насмешливо глазами и подкивнул волевым, упрямым подбородком:

— Шти-иль? Да-а... Штиль тогда был, это так, но-о... не столько на море, сколько... Оставим это! Это — дело прошлое. Потерянного не воротишь... Наши парусные суда могли подойти тогда к неподвижной и не способной лавировать армаде на буксире наших пароходов, в ночь с первого на второе сентября. И я предлагал этот план, но он...

как вам известно, не был одобрен... А между тем мы могли бы разгромить десантную армию там, на море, где она не имела бы возможности защищаться во всю свою мощь, так как очень многих орудий своих не могли бы на нас направить военные суда: их палубы были загружены пехотой... Вот что могло бы произойти, господа, но о прошлом больше уж говорить не будем... Перед нами катастрофа, господа! Она надвигается очень быстро и требует бури в наших мозгах!.. Если флот наш останется на тех же местах, на каких он стоит сейчас, он погибнет! Может быть, даже завтра, послезавтра, но над ним уже висит погибель, — она очевидна... И единственное средство спасти наш флот от гибели совершенно бесполезной и, конечно, бесславной — это вывести весь боеспособный состав его в море и... напасть на неприятельскую эскадру!

Неотрывно глядевшие в лицо Корнилова адмиралы и капитаны переглянулись, когда были сказаны — и сказаны с большой энергией — последние слова; Корнилов же продолжал с подъемом:

— Это может, пожалуй, показаться слишком смелым, но надо же, господа, хоть сколько-нибудь надеяться на удачу, на счастье! Не один же только арифметический расчет решает дело сражения! Пусть эскадра противников гораздо больше, но, насколько я наблюдал ее, она плохо умеет лавировать, — в этом мы ее превосходим... Я видел их эскадру в полном сборе у мыса Лукулла: мне она не показалась особенно внушительной... Стремительность нападения — вот был бы наш главный козырь!.. Вспомните, как Густав III{15} стремительно напал на русский флот под командой этого международного проходимца принца Нассау-Зиген и разгромил его. В морской операции этой со стороны Густава не было ничего, кроме смелости... Конечно, моряки английские и французские совсем не то, что русские моряки времен Екатерины, но в крайнем случае, господа, мы если и погибнем, то погибнем в бою и такой можем нанести вред противнику, что десантная армия окажется в конце концов и без осадных орудий и без продовольствия, по крайней мере — на ближайшее время. А там придут наши дивизии, которые уже идут в самом спешном порядке, и Севастополь будет спасен, а десантная армия должна будет сдаться, если не захочет быть совершенно истребленной. Вот мой план,

господа, и я предлагаю вам обсудить его со всем беспристрастием! Из всех, бывших теперь в кают-компании флагманского корабля, бессонную ночь провел только один Корнилов, и отступление армии видел один только он. Все остальные могли бы быть гораздо спокойнее, но от Корнилова как бы исходила большая взволнованность, и она заражала.

Нахимов, увидев, что на него вопросительно глядело несколько пар пытливых глаз, заторопился, зажал в левую руку трубку чубуком вперед и заговорил сосредоточенно и негромко:

— Я думаю, господа, что Владимир Алексеевич, о-он... он высказал верную вполне мысль. То есть, что флот есть флот, да-с, и назначение его — морской бой... Иначе зачем же вообще государству тратить большие средства на это... это установление-с?.. Сегодня штиль, зато вчера был вполне попутный нам ветер — зюйд-вест... Между тем что же говорят о вчерашнем сражении? Что его будто бы решили суда союзников — несколько их пароходов... Вот что говорят-с!

Нахимов не был рожден оратором, как Корнилов, он с трудом собирал мысли, а для того чтобы публично излагать их, должен был глядеть на какой-нибудь неподвижный и непременно неодушевленный предмет. Теперь он глядел на кончик своего чубука.

— Возможна ли победа, если мы выйдем для боя с противником? — продолжал он. — Я не сказал бы, господа, что она... что победа... вполне возможна, — нет. Этого я бы не сказал... Потому что я не знаю, каковы будут союзные моряки в бою... Это зависит от многих причин, и между прочим от того даже, ладят между собой командиры их или же нет-с. Да-с, это тоже может быть одна из причин... Но что я знаю, это-с... это то, что свою службу по блокаде портов наших несли они спустя рукава-с! Безобразно-с! Наш "Святослав", например, разве он не стоял целые сутки на мели-с?.. Притом же вне выстрелов наших батарей... Однако же нам удалось вполне благополучно его стащить... Это что значило? Значило только то-с, что плохо они несли службу, вот что-с! А "Тамань"? Как позволили они выйти "Тамани" из Севастополя, чтобы каперствовать у них же под Босфором? Это значит, что плохо несли они службу-с!.. Возможен ли успех с подобным противником? Я бы сказал так: не невозможен, да-с! И кто

это во время высадки — кажется, лейтенант Стеценко — прислал донесение, что два-три брандера могли бы ночью тогда большо-го переполоха у них наделать, да-с! Кажется, поздно пришло донесение, почему и не были посланы брандеры... Но ведь могли бы догадаться об том и сами, здесь — промедлили-с! Допустили оплошность! Но повторять, господа, повторять свои упущения и оплошности мы уже не имеем теперь больше никакого малейшего основания, да-с!.. Флот есть флот, и его назначение — бой на море! Я кончил-с.

И разрешенно подняв на всех свои светлые с небольшой косиной глаза, он снова повернул трубку чубуком к себе, и рука его при этом заметно дрожала почему-то; но два Георгия, полученные им за боевые подвиги, белели на черном сукне его вицмундира весьма внушительно.

— Спасибо, Павел Степанович, что поддержали меня! — Корнилов полуподнялся на месте, протянув Нахимову руку.

— Все поддержим! — густо сказал контр-адмирал Панфилов, крепкий блондин с пухлым лицом и маленькими глазами. — Назначение флота — морской бой, это правильно сказано!

Корнилов благодарно склонил голову, поглядев на него признательно, и обратился к другому контр-адмиралу Истомину:

— А вы, Владимир Иванович?

— Можете ли вы сомневаться в моем ответе?! — как будто даже несколько укоризненно проговорил, положив руку на грудь, Истомин, лысоватый спереди, с очень внимательным всегда к словам начальства лицом первого ученика. — Черноморский флот — это, — простите мне такое сравнение, — сторожевой пес всего юга России, а кто же держит сторожевого пса запертым в сундуке? Раз приходят во двор хозяина воры, сторожевой пес должен хватать их за горло! — И Истомин даже сделал рукою такой хватающий за горло жест.

Двое Вукотичей — Вукотич 1-й и Вукотич 2-й, — оба смуглые пожилые люди, братья, контр-адмиралы, сербы по отцу, один за другим также высказались за то, что надобно вывести флот из бухты и вступить в бой.

С лица Корнилова при выступлениях контр-адмиралов все заметнее слетала обеспокоенность. Зажженные изнутри глаза продолжали

гореть, может быть, даже и еще ярче, но оживали впалые щеки, выше поднималась голова, крепче становились узкие плечи...

Но вот на дальнем конце стола, как раз против него, поднялась мешкотная, неуклюжая фигура капитана 1-го ранга Зорина.

— Ваше превосходительство, надеюсь, позволите и мне сказать несколько слов? — обратился он к Корнилову.

— Пожалуйста, Аполлинарий Александрович, пожалуйста! Больше голов — больше умов, — ободрил его Корнилов.

— Я, господа, буду краток. — Зорин обвел многих как будто несколько мутноватыми глазами. — Времени у нас в обрез, каждого из нас ждет дело, а враг наступает. Длинных речей говорить некогда.

Он оперся пальцами о стол, подался вперед и, глядя не на Корнилова, а по сторонам, больше на капитанов, чем на адмиралов, начал негромко, однако уверенно:

— Прошу прежде всего, господа, не обвинять меня в трусости, я никогда не был трусом, я — человек дела. Предложение о том, чтобы выступить флоту и сразиться, и я бы принял очень охотно, если бы видел от него хоть какую-нибудь пользу защите Севастополя. Но — должен честно сказать — не вижу! На победу надеяться нельзя, это сказано, — на что ж можно надеяться? — на большой урон, какой мы принесем врагу, хотя в то же время и сами погибнем. Пчела, когда жалит нас на пчельнике, думает, конечно, тоже, что причинит нам огромный вред, но у нас — поболит и перестанет, а пчела неминуемо погибнет... Представим, что мы истребим даже ровно столько судов противника, сколько их есть у нас: сцепимся, например, на абордаж и вместе взорвемся. Геройский подвиг, что и говорить! Но противник потеряет при этом, скажем, третью часть своего флота, а мы весь! У него останется до-ста-точно, господа, чтобы стать тогда полным хозяином положения, а у нас погибнут вместе с судами вся судовая артиллерия, во-первых, которая пошла бы на бастионы, десять, скажем, тысяч отличных артиллеристов — матросов и офицеров, — во-вторых, которые могли бы сейчас же стать при своих же батареях на бастионах. Вот вам и защитники Севастополя, опытные, умелые артиллеристы. С потерей Москвы, господа, не погибла Россия, авось и с потерей судов не пропадет Севастополь.

— Как с потерей судов? — Корнилов вздернул голову.

— Я говорю, ваше превосходительство, о тех нескольких судах, которые придется затопить в фарватере Большого рейда, чтобы неприятельский флот не прорвался в бухту... Несколько старых судов, семь-восемь. Геройство, конечно, хорошая вещь, но здесь, в данном случае, оно совершенно не у места... Нам теперь просто не до геройства, господа! Дело идет ведь о ничуть не романтической, а самой обыкновенной защите Севастополя нашего от очень сильного, как оказалось, врага! Суда, какие мы должны будем затопить для этой защиты, построят, конечно, вновь со временем на наших же верфях, но если нам вот сейчас, в такой момент критический, не могут прислать достаточно сухопутного войска, то станем вместо этого неприсланного войска на бастионы сами и бастионы даже можем назвать именами тех самых судов, какие придется затопить, и вот матросам будет казаться, пожалуй, что они опять на своих кораблях, только корабли стоят так прочно на якорях, что никакая буря их не сорвет... Но это уж я в область поэзии ударился, что совершенно ни к чему, конечно... Я все сказал, господа, что думал сказать.

И капитан Зорин так же мешкотно уселся на свое место, как и поднялся.

— Это ваш собственный план? — подозрительно поглядев на него, резко спросил Корнилов.

— Да, разумеется, это мой личный взгляд на положение наше, — проговорил уже не так уверенно Зорин, заметив, что какое-то неловкое молчание наступило в кают-компании после его слов.

— Надеюсь, что этот ваш план, — сделал ударение на слове "ваш" Корнилов, — не будет никем разделен.

Он сказал это сухо, как будто даже презрительно, но вдруг услышал:

— В словах капитана Зорина много правды, если только не все они правда!

Это сказал вице-адмирал Новосильский, самый молодой из вице-адмиралов.

А капитан 1-го ранга Кислинский заявил еще определеннее:

— Я вполне согласен с капитаном Зориным.

Этого никак не ожидал Корнилов. Это было уже похоже на открытый

бунт младших в чине против высшего начальства.

Однако неудержимо заговорили именно эти младшие в чине:

— Единственный выход из положения — затопить суда в фарватере!

— И всем идти на бастионы!

— Как будто бастионы под обстрелами противника не то же самое, что и суда в море!

— Геройство остается геройством и на бастионах, и подвиги — подвигами!

— И если даже такого случая не было в истории, то пусть будет первый случай в Севастополе!

Корнилов увидел вдруг по этим возгласам, таким откровенным, что его предложение не принято большинством военного совета. Он поглядел на Нахимова, ища у него поддержки, но Нахимов усиленно сосал свою трубку, заволакивая себя дымом, как из мортиры, и был безмолвен.

— Хорошо, господа, — сказал Корнилов громко, вставая с места. — Больше мы обсуждать этот вопрос не будем. Должен все-таки сказать вам: готовьтесь к выходу в море! Будет дан сигнал, что кому делать. На этом кончим.

Все встали из-за стола, переглядываясь и пожимая плечами. Корнилов сам отворил дверь кают-компания и увидел, что к нему по коридору направлялся лейтенант Стеценко.

— Как? Вы уже здесь? — удивился Корнилов.

— Я от его светлости, ваше превосходительство.

— А-а! Где же в данный момент его светлость?

— Вероятно, уже переехал на Южную сторону.

— Вот как! А где же армия? На Инкермане?

— Приказано все средства перевозки как флота, так и порта предоставить на переброску армии северной на Южную сторону, ваше превосходительство. С этим приказанием я и послан его светлостью.

— Значит, армия вся возвращается в Севастополь и становится на его защиту? Я очень рад!.. А союзники? Где же их армия?

— Неизвестно. По-видимому, еще не тронулась с места.

— Вот как? Они, стало быть, дают нам лишний день на подготовку к их встрече? Это гораздо лучше сложилось, чем можно было думать, гораздо лучше!.. Я сейчас же распоряжусь насчет перевозки войск и

буду у князя по очень важному делу...

В отворенную дверь кают-компания Стеценко разглядел и Нахимова, и Истомина, и двух Вукотичей, и кое-кого из капитанов 1-го ранга.

На корабле ему сказали уже, что тут собран Корниловым военный совет, но он думал, что над ним по-дружески подшутили. В том уставе для главнокомандующего, который несерьезно, правда, но все-таки довольно назойливо складывался в его голове, совсем не было и даже не предполагалось статьи о военном совете.

III

Когда Корнилов, распорядившись о перевозке войск, приехал в Екатерининский дворец, Меншиков был уже там и завтракал. Он сидел за столом один. Он держался сутуло, понуро, какой-то не желтый даже, а обескровленный, точно не армия, а лично он был тяжело ранен на алминском турнире. Корнилову он показался теперь похожим на рыцаря из Ламанча: не хватало только острой эспаньолки. И хотя Меншиков любезно, как всегда, пригласил его разделить с ним завтрак, Корнилов заметил на себе недовольный чем-то и пристальный взгляд князя.

— Перевозку войск наладили? — спросил Меншиков.

— Распорядился, ваша светлость... Войскам вы приказали бивуакировать на Куликовом поле?

— Да-да-а... Их надо привести в известность, переформировать... От Владимирского полка, например, осталось нижних чинов всего на один батальон, и то мирного состава, а офицеров и на три роты не хватит... Многим надобно выдать новую амуницию... Их надо накормить, надо, чтобы они отдохнули немного...

— А дальше куда их и как?

— Когда противник покажет свою деятельность, будет известно и нам, что нам делать... Пока же он, по-видимому, хоронит убитых, которых у него, я думаю, не меньше, чем у нас... Но скажите мне, Владимир Алексеич, вот что... Сейчас у подъезда я встретил капитана Кислинского... шел в парадной форме... Я спросил его: "Почему парадная форма?" Он отвечает, представьте, что идет с военного совета!.. Гм... С военного со-ве-та! Будто вы собрали флагманов флота

и командиров кораблей на совет по поводу...

— По поводу ближайших действий флота, ваша светлость! — досказал, видя затруднения князя, Корнилов.

— Разве ближайшие действия флота не были предуказаны вам мною?

— Князь откинулся на спинку стула. — Разве я вам не сказал вчера, что нужно сделать?

— Вы мне сказали, ваша светлость, относительно того, чтобы затопить суда на входе в Большой рейд, но я почел это за предложение только, а не за приказ...

Корнилов почувствовал, что он бледнеет, становится так же бескровен с лица, как и старый князь. Сердце его начало биться беспорядочно и гулко, и трудно стало дышать.

— Какого же вы ждали еще приказа? Бумажки с моей подписью?

— Да, именно... именно приказа на бумаге, ваша светлость! Оправдательного документа перед государем... перед историей, наконец!

Меншиков собрал все свое небольшое лицо в очень сложную гримасу.

— История будет писаться потом, сейчас она делается.

В этой гримасе было и презрение к истории, как она и кем она там пишется, и старая ненависть к своей подагре, которая начала заявлять о себе настойчиво, и борьба с зевотой, которая совершенно его одолевала, но считалась им неприличной, и злость на своего повара, который не нашел в своем арсенале ничего другого, кроме жалкой яичницы с ветчиной ему на завтрак, а ветчина оказалась твердой, совсем не по его челюстям, но вызвать повара и накричать на него было неудобно: мешал не вовремя явившийся Корнилов, который созывает какие-то "военные советы", пользуясь его отсутствием. Корнилов же подхватил только смысл его слов, не обратив внимания на смысл гримасы.

— Совершенно верно, ваша светлость, — горячо сказал он, — история делается на наших глазах, но нужно, чтобы ее делали мы сами, а не Сент-Арно! Мы не должны ждать, что соблаговолят с нами сделать союзники, — мы должны поставить их в невозможность сделать то, что они задумали сделать! Мы должны перемешать и перепутать их карты и ходы!

— Слова! — Князь махнул двумя пальцами, вытирая подбородок салфеткой. — Как именно перепутать их ходы?

— Прежде всего так: они рассчитывают, что наш флот замер от ужаса перед их флотом, как кролик перед удавом в зверинце, — а мы вдруг покажем им, что они нам нисколько не страшны, и нападём на их флот!

Меншиков узнал от капитана Кислинского, о чем говорилось на военном совете, но намеренно сделал круглые, изумленные, неподвижные глаза, прежде чем спросить Корнилова:

— Вы не этот ли свой проект и обсуждали на... так называемом совете военном?

— Этот, да, ваша светлость! Именно этот, и только этот... Как творцы истории мы выступали с очень большим запозданием, точнее — нас просто застали врасплох... историю готовились делать там — в Париже, в Лондоне, в Константинополе, в Варне, а мы только смотрели на это... издали смотрели, и как будто это нас совсем не касалось. Но если армия наша... если она оказалась мала, хотя ее можно было увеличить значительно, то флот мы увеличить за такой короткий срок не могли, флот остался таким же, каким и был: он вполне боеспособен и готов к выступлению по первому приказу вашей светлости.

— Не-ет! — Меншиков бросил салфетку на стол. — Нет, я такого приказа не давал и не дам!.. Вы же... Что касается вас лично, то вы превысили свои полномочия, — вот что такое военный совет, какой вы изволили созвать! Кроме Государственного совета, в каком, может быть, когда-нибудь удостоимся заседать и мы с вами, ни-ка-ких советов не должно быть в Российской империи даже и в мирное время, тем более нетерпимы они в военное — как сейчас! Вы не могли этого не знать! Вы начальник штаба Черноморского флота, вы вице-адмирал, вы генерал-адъютант, вы не имели права этого не знать или об этом забыть!.. А вы собираете вдруг совет!.. Далее: отлучась из Севастополя на несколько дней для встречи противника, я оставил заместителем своим не вас, а генерал-лейтенанта Моллера, вы же, как я узнал, распоряжались тут всем вполне самовластно, даже не посылая многих бумаг генералу Моллеру на подпись!..

Корнилов встал; медленно поднялся и Меншиков и, уже стоя в привычной позе начальника, который отчитывает подчиненного, продолжал, повышая голос:

— Я несколько не сомневаюсь, что ваши намерения имели в виду пользу службы, в данном случае — защиту города, но вести на явное истребление флот я вам не позволю, нет!

— Ваша светлость! Я могу привести вам несколько данных за то, что нас ожидает успех, — начал было, собрав все свое самообладание, Корнилов, но Меншиков перебил его:

— Властью, данной мне государем, я требую, чтобы вы свои данные оставили при себе! При себе, да... А не стремились внушать их другим, которые ниже вас по служебной лестнице! Парусный флот при безветрии становится легкой добычей парового винтового флота — вот вам аксиома! Даже если он в равных силах, в смысле артиллерии, с флотом противника, а не впятеро слабее, как наш флот!

— Наш флот слабее, да, но отнюдь не впятеро, как вы изволили сказать, а вдвое!

И при этих словах Корнилов, который был несколько ниже ростом, чем Меншиков, непроизвольно растянул все позвонки своего спинного хребта и шеи, чтобы глаза его пришлись прямо против глаз князя, так же воспаленных от бессонной ночи, как и его глаза.

— Про-шу-у... мне не противоречить! — видимо, сдерживаясь с большим трудом, проговорил князь и тут же начал шарить по карманам, бормоча при этом: — Вот тут... я набросал... список кораблей... которые можно будет... затопить, чтобы закрыть вход неприятельскому флоту... Вот он, этот список.

И, вытащив клочок бумаги, поднес к глазам лорнет.

Корнилов понимал, что этот клочок сознательно разыскивался князем довольно долго только затем, чтобы овладеть собою — остыть; поэтому он не говорил ни слова, только дышал тяжело и глядел в глаза князя не мигая.

— Я наметил пять старых кораблей и два фрегата, — старался говорить теперь уже совершенно спокойно, разглаживая пальцами скомканную бумажку, князь. — Корабли: "Уриил", "Селафиил", "Варна", "Силистрия" и... "Три святителя"... Фрегаты: "Флора" и

"Сизополь"... Экипаж этих судов — почти три тысячи человек — расписать на бастионы. Всю артиллерию незамедлительно снять; крьюйт-камеры очистить...

Опустив лорнет, Меншиков протянул бумажку Корнилову, говоря при этом отходчиво:

— Я вас вполне понимаю, Владимир Алексеич, вы хотите соблюсти честь андреевского флага, но разве я занят тем, чтобы нанести ему бесчестие?

— Вы просто его спускаете, ваша светлость, спускаете перед флотом союзников без боя! — резко сказал Корнилов.

Меншиков вздернул нависшие брови.

— Как так — спускаю?.. Вы отдаете себе отчет в том, что вы говорите?

— Отдаю. Вполне. Вы приказываете доблестному Черноморскому флоту кончить жизнь самоубийством, но флот хочет жить, ваша светлость!

Двое высоких, узкоплечих, упрямых, оба с золотыми аксельбантами, свободно висевшими над впалой грудью у каждого, они стояли друг против друга, пронизанные нервной дрожью.

— Вы-ы... этот приказ мой... выполните... если обстоятельства заставят меня... вновь отлучиться из города? — с усилием, хрипло и негромко спросил, наконец, Меншиков.

— Нет, не выполню! — так же тихо ответил Корнилов.

— Та-ак?.. Тогда вы... вы можете отправляться отсюда... в Николаев... К своему семейству... В Николаев! На новое место службы! — крича, Меншиков заметался по обширной столовой.

И неожиданно быстро, широко и легко шагая большими длинными ногами, он направился к двери, отворил ее срыву, крикнул:

— Ординарца ко мне! — и вышел.

Корнилов слышал, как затопало несколько пар ног по деревянной лестнице; потом — голос князя: "А-а, это вы очень кстати явились, лейтенант! Я хотел послать ординарца, мичмана Томилина, но вы сделаете это лучше. Пригласите ко мне сейчас же адмирала Станюковича! Немедленно!" И тут же — знакомый голос Стеценко: "Есть, ваша светлость!.."

Нервными пальцами Корнилов рвал в это время в мелкие клочки

бумажку, данную ему князем, и смотрел в окно на рейд, где, не подозревая о своей участи, привычно стояли на своих местах обреченные на бесславную гибель от своих же моряков корабли.

— Итак, — сказал, входя снова, Меншиков, — сейчас, при мне, в моем присутствии, вы передадите свою должность начальника штаба флота адмиралу Станюковичу и немедленно после этого отправитесь в Николаев!

— Что может сделать Станюкович на моем месте? — Корнилов отвернулся от окна и опять стал лицом к лицу с главнокомандующим. — Ничего!.. Я повторяю еще раз, ваша светлость: это — самоубийство, то, к чему вы меня принуждаете! Но чтобы я уехал из Севастополя, окружаемого врагами, — ни-ког-да!

— Но вы не можете оставаться здесь и делать по-своему!.. За все свои приказы ответственность несу я, а не вы!

— Да, конечно... Вы!.. А не я... хорошо, что ж... Мой прямой долг — вам повиноваться... Повторяю: это — самоубийство!.. Но... подчиняюсь...

На глазах его блеснули слезы.

Он опустил голову и стал как-то сразу гораздо ниже ростом.

Нерешительно и медленно Меншиков протянул ему руку.

IV

Часа через два после этого разговора на корабле "Великий князь Константин" был поднят сигнал: "Кораблям и фрегатам прислать к адмиралу по два буйка с балластами и концами".

Этот краткий и очень малопонятный для сухопутных приказ означал коренную ломку в расположении флота. По этому приказу старшие штурманы должны были расставить по рейду буйки для указания новых мест всем крупным боевым судам.

Десять новых кораблей — "Гавриил", "Храбрый", "Чесма", "Святослав", "Ростислав", "Двенадцать апостолов" и другие — выстраивались так, что правые борта их были обращены к Северной стороне, чтобы обстреливать ее при неприятельской атаке, а пять старых кораблей и два фрегата должны были стать на место казни — в кильватерной колонне по прямой линии между Александровской и Константиновской

батареями, охраняющими вход на Большой рейд.

Вслед за тем писаря канцелярии штаба Черноморского флота спешно и рьяно принялись переписывать приказ, подписанный Корниловым:

"По случаю ожидания сюда неприятеля, который, пользуясь своим численным превосходством, оттеснил наши войска и грозит атакою северному берегу Севастопольской бухты, следствием которой будет невозможность флоту держаться на позиции, ныне занимаемой; выход же в море для сражения с двойным числом неприятельских кораблей, не обещая успеха, лишит только бесполезно город главных своих защитников, — я, с дозволения его светлости, объявляю следующие распоряжения, которые и прошу привести немедленно в исполнение:

Корабли расставить по назначению в плане диспозиции; из них же старые: "Три святителя", "Уриил", "Селафиил", "Варна" и "Силистрия"; фрегагы: "Флора" и "Сизополь" — затопить в фарватере.

Фрегатам и остальным, мелким, судам войти в Южную бухту.

Людей, остающихся от затопленных кораблей и от стрелковых и абордажных батальонов, оставить на кораблях для действия артиллериею по балкам северного берега до тех пор, покуда потребуется, а потом составить из них батальоны для усиления уже образованных.

Контр-адмиралу Вукотичу 1-му привести в исполнение затопление кораблей, когда это потребуется.

Все корабли, на позиции стоящие, также должны быть готовы к затоплению, буде придется уступить город".

Так был подписан смертный приговор флоту тем, кто вложил в него все свои недюжинные силы и знания. Ироническая усмешка истории блеснула тут, в этом приказе, непреклонно холодно и жестоко.

Уже с трех часов пополудни 9/21 сентября шесть больших пароходов деятельно принялись растаскивать на буксирах огромные стопушечные корабли на новые места их стоянки. Они были похожи издали на трудолюбивых муравьев. Мирная бухта вся вспенилась от лопастей их колес, от их усилий точно по буйкам расставить громоздкие суда, неспособные к собственным движениям без силы ветра.

С кораблей-смертников пока еще не приказано было сходить экипажу.

Их поставили со слабо теплившейся надеждой, что, может быть, неприятельский флот захочет все-таки форсировать Большой рейд, чтобы покончить с русским флотом путем боя с ним в его же убежище, как это удалось сделать Нахимову с турецкой эскадрой в Синопской бухте. Тогда несколько сот орудий, бывших на обреченных судах, могли бы сослужить большую службу, и гибель судов, если бы им суждено было погибнуть, отнюдь не была бы бесславной.

Хотя и старые, они, как крепость на якорях, могли бы еще быть грозными для эскадры союзников, достойно завершить свое боевое прошлое. Огромный корабль "Три святителя", поставленный в середине других судов, сражался при Синопе; фрегат "Флора" незадолго перед тем отбил в открытом море во время штиля от напавших на него трех турецких паровых фрегатов...

Небольшие пароходы, баркасы, боты и другие гребные суда густо бороздили поверхность бухты, перевозя с Северной стороны на Екатерининскую пристань орудия, зарядные ящики и другие тяжести...

Только часам к десяти вечера улеглась, наконец, суматоха, поднятая на Большом рейде и Южной бухте приказом Корнилова: флот приготовился встретить союзные силы на новых местах, ошетинился хоботами орудий, разжег калильные печи для ядер...

Но на все эти приготовления моряков подозрительно смотрел отдохнувший уже от впечатлений неудачного Алминского сражения и бессонно в походе проведенной ночи Меншиков. Он даже прислал вечером одного из своих адъютантов к Корнилову справиться, когда именно будут затоплены в фарватере суда. Корнилов ответил, что затопить суда недолго, было бы все к этому готово, сам же думал все-таки как-нибудь повлиять на князя, чтобы спасти суда.

Однако часа через два разыскал его другой посланец князя с приказом перед тем, как топить суда, поднять над городом русский национальный флаг в виде сигнала.

Но ни в этот день, ни даже на следующий, 10 сентября, суда потоплены не были. У Меншикова и кроме них было много заботы: перевозилась и переходила на обширное Куликово поле — южнее четвертого бастиона — армия со всеми обозами; составлялись списки потерь; подтягивались отсталые, записанные в "пропавшие без

вести"; устраивались в госпитале раненые; выдавались ранцы и ружья из складов и цейхгаузов; наполнялись снова патронные и сухарные сумки...

Приходили депеши, что неприятель все еще не тронулся с места, но это значило только, что он, освобождаясь от своих раненых, готовится к дальнейшим действиям не спеша и обдуманно. Казаки и гусары встречали кавалерийские разъезды, освещавшие местность, даже у Бельбекской долины.

Утром 10-го близко ко входу в Большой рейд, но, конечно, вне выстрелов с береговых батарей, подошли два парохода союзников. Выстроившиеся совсем по-новому, в две кильватерные колонны, русские суда на Большом рейде их изумили. Они тут же ушли с донесением адмиралам Лайонсу и Гамелену, что русская эскадра приготовилась выйти, чтобы напасть на союзный флот.

Союзный флот собрал все свои силы и целый день усиленно готовился к бою и ждал нападения, несколько раз меняя для этого места.

Вечером те же два разведочные парохода подходили снова: картина на рейде не менялась.

Между тем штиль продолжался — не было ни малейшего ветра. Это говорило союзникам только о том, что русские парусные корабли выступят утром, когда подует попутный им бриз.

Но в шесть часов вечера над библиотекой взвился трехцветный флаг — сигнал на этот раз весьма печальный. Несколько видных морских офицеров сошлись у Корнилова, умоляя его повременить с исполнением жестокого приказа.

— Господа, я все сделал, что мог, но приходится покориться необходимости, — говорил им Корнилов.

— Мы навсегда опозорим себя в глазах противника! — возражали ему.

— И население Севастополя, и моряки, и гарнизон — все будут подавлены, если мы сами затопим свои суда!

— Я приводил все эти доводы князю, но он ссылался на историю: часто бывало, дескать, то, что армии, высадысь в чужой стране, сжигали свои корабли, чтобы отрезать себе путь отступления... Мы же, дескать, сделаем гораздо умнее, если их потопим и тем обезопасим себя с моря от наступления... Он до того упорен в этом, что я уже

перестал с ним спорить. Сигнал дан, надо свозить с кораблей экипаж и орудия и вообще что можно успеть свезти... Потом прорубить отверстия в подводных частях и...

Корнилов сделал правой рукою ныряющий жест и отвернулся, чтобы скрыть приступ слабости.

Весь вечер и всю ночь деятельно перевозили с судов-смертников на берег орудия, снаряды, офицерские вещи, однако перевезти всего не удалось.

Из орудий были сняты только мелкие, потому что крупные при их огромной тяжести снимать спешно и в темноте было невозможно.

На каждом судне хранились большие запасы провианта, но об этих запасах никто, кроме коков и баталеров, даже и не вспомнил в общей суматохе.

Почему-то упорно держалось мнение, что неприятельский флот, по депешам — скопившийся в большом числе возле устья Качи, только для того именно и скопился и усердно готовился к сражению, чтобы утром 11-го числа атаковать Большой рейд и в него ворваться. Поэтому спешили потопить суда еще до рассвета, совершенно бросив их разгрузку.

Матросы прорубали широкие, на совесть, отверстия ниже ватерлинии. И вот на рассвете погрузились уже окончательно "Варна", "Силистрия", "Сизополь"... Только обломки мачт плавали на тех местах, где они стояли. За ними пошли на дно "Уриил" и "Селафиил". "Флора" держалась на воде до восьми часов, потом, покачиваясь и вздрагивая всем корпусом, точно от холода или боли, медленно скрылась в водяной могиле.

Только стоявший как раз над самым глубоким местом фарватера огромный корабль "Три святителя" не выказывал ни малейшего желания расстаться с жизнью, хотя вода и вливалась добросовестно во все бреши, проделанные в нем топорами.

Капитан Зарубин, как и все севастопольцы, с большой тревогой наблюдал за всем, что делалось кругом. Для этого времени у него было довольно. Если по дому он — человек отставной во всех смыслах — ничего не мог делать, то ковылявшие ноги дотаскивали его все-таки до Приморского бульвара, откуда хорошо видны были и Южная бухта

и вход на Большой рейд. То, что появились на улице раненые, говорившие, что "француза этого прет на Севастополь — тёмно! Даже так, что и сосчитать нельзя!" — его уже достаточно испугало. Капитолина Петровна только ахала, всплескивала руками, металась то туда, то сюда и искала, кого бы ей обвиновать в том, что вовремя не уехали, как люди. Дебу жил уже в казарме при канцелярии своего батальона; юнкер-сын пропадал на корабле; Варя и Оля еще меньше, чем их мать, знали, что надо делать.

Зарубин пошел на бульвар и в это утро — ближе к полдню, как был тут и накануне, когда видел колонну кораблей, выстроившихся поперек рейда.

Что они готовятся здесь при поддержке береговых батарей встретить грудью эскадру врага, это было ему понятно; что в самой середине колонны, как бы в кореннике, стоит корабль "Три святителя", его корабль, на котором, будучи капитан-лейтенантом, он сражался с турками, было ему тоже и понятно и даже радостно вчера.

Но очень страшно показалось в этот день, 11 сентября, когда он увидел вдруг, что корабль его стоит уже только один... Куда же ушли остальные?... И почему на его корабле так страшно вдруг стали торчать мачты? Или это только кажется его глазам?

Он стоял, облокотясь на высокий каменный парапет над бухтой. Близко никого не случилось, чтобы спросить, куда делись остальные шесть судов и действительно ли что-то там такое с мачтами, или ему только так кажется.

Вдруг Зарубин увидал большой пароход "Громоносец", идущий на сближение с кораблем.

Вот он сделал поворот, надымил из трубы черным дымом в небе, вспенил кормою воду в бухте, и странно, и неожиданно, и оглушительно грянул с него орудийный выстрел...

Ниже полосы черного дыма отплывал от него клубами белесый пороховой дым... И еще орудийный выстрел... И еще один... И корабль "Три святителя" вдруг покачнулся, пораженный несколькими ядрами в подводную часть, мачты его упали, и на глазах Зарубина он стал погружаться... Сначала медленно, потом быстрее, быстрее, наконец, исчез в воде... И Зарубин понял, что его корабль просто расстрелян и

затоплен сознательно, по приказу, так же затоплен, как и остальные шесть...

Больному, изувеченному, слабому, старому, ему стало страшно, как малому ребенку, и, уткнув лицо в руки, лежащие на парапете, он зарыдал, как ребенок.

Глава седьмая. Фланговый марш

I

Отставить генерала Кирьянова от командования дивизией Меншиков не имел полномочий. Он даже не просил об этом и в том донесении царю, которое повез Грейг; когда же 11 сентября в полдень получены были депеши, что армия союзников оставила, наконец, Алминскую долину и направляется к реке Каче, — вдоль берега моря, как и раньше, — Меншиков приказал Кирьякову с его отрядом двинуться, обогнув Северную сторону, и быть авангардом армии, назначение которого наблюдать за противником, а князю Горчакову приказано было вести свой отряд как ядро армии на Инкерманские высоты.

Этот вывод войск из Севастополя, для того чтобы не дать союзникам запереть в крепости полевые войска, а, напротив, сделать из этих войск для союзников угрозу их флангу и тылу и сохранить связь Севастополя с остальным Крымом и, значит, с Россией, и был началом отмеченного впоследствии в истории военного искусства флангового марша Меншикова.

Теперь, когда между бухтой и открытым морем выросла непроходимая баррикада из затопленных судов, Меншиков мог быть спокоен за целостность матросов и судовых орудий: взгляды даже самых воинственных флагманов поневоле обращались теперь с моря на сушу.

Но он издал еще два приказа: приготовить к затоплению так же и все новые корабли, чтобы они не достались союзникам в случае, если атаки отразить не удастся; двум же Аяксам Черноморского флота стать во главе сухопутной обороны: Корнилову — северной части Севастополя, Нахимову — южной.

Командовать всем севастопольским гарнизоном в свое отсутствие Меншиков назначил снова "Ветреную блондинку" — Моллера.

Получив приказ, Нахимов тут же направился к князю. Он надел парадную форму; он нацепил большую часть своих орденов; он был торжественно решителен.

Он стоял официально навытяжку перед главнокомандующим и говорил против обыкновения почти без запинок:

— Вы изволили, ваша светлость, зачислить меня в сухопутные генералы, но я — вице-адмирал-с! Я ничего не знаю ни в саперном деле, ни в деле обороны разных там бастонов-с... Я могу по своей неопытности во всем этом-с наделать таких непозволительных ошибок, что... что мне их никогда не простят-с!.. Вместо пользы я могу принести огромный вред-с, чего я боюсь!

— Пу-стя-ки! — Меншиков сделал гримасу. — Всякий вице-адмирал равен по своему чину генерал-лейтенанту. Кроме того, у вас под командой будут ваши же матросы, вам очень хорошо известные... Так что вы, Павел Степанович, напрасно волнуетесь.

Однако Нахимов продолжал обдуманно:

— В воинском уставе, ваша светлость, есть статья, прямо запрещающая назначать адмиралов на должности сухопутных генералов, так как это две разные военные специальности-с... Ведь никому не придет в голову сухопутного генерала вдруг взять и сделать адмиралом!

— Однажды, — сухо отозвался Меншиков, — это пришло в голову ныне царствующему монарху, и ваш покорнейший слуга, — он ткнул себя пальцем в аксельбант, — из сухопутных генералов сделан был адмиралом, о чем вы, как видно, забыли!

Нахимов действительно забыл об этом. Он был очень сконфужен и покраснел даже.

— Виноват, ваша светлость, я упустил-с, да... совсем упустил это из виду-с.

Тут он подумал, что князь, пожалуй, не поверит, будто он говорил без всякого умысла; что князь может найти в его словах намек на проигранное Алминское сражение, которое мог бы выиграть настоящий, коренной сухопутный генерал, — и покраснел еще гуще.

Меншиков заметил это. Он сказал полушутливо-полусерьезно:

— Древние римляне назначали на должности полководцев не только адмиралов взамен генералов, а даже людей, никогда не служивших в войсках... Возьмите хотя бы Лукулла, который был только богат и любил хорошо покушать... Однако же он оказался очень удачливым полководцем, не так ли?.. Почему же? Да по той простой причине, что была у него, как у всякого богатого человека, привычка командовать людьми... И не нужно ему было совсем никаких знаний саперного дела, если была такая привычка.

— Пример вы привели разительный, ваша светлость! — пробормотал Нахимов и после двух-трех произнесенных еще фраз простился с князем, который собирался уже уезжать к отряду Горчакова.

Не снимая ни орденов, ни парадного вицмундира, Нахимов верхом поскакал знакомиться с Южным фронтом, который должен он был защищать, может быть даже завтра, против опытных полчищ союзников.

С молодости осталось у него представление о морской стихии как о беспредельной и необъятной, но стихия земная оказывалась еще необъятнее, как только пришла для него необходимость ее защищать. Он взял направление на ближайший к городу седьмой бастион. Он думал о Лукулле, который, почти две тысячи лет назад, так же вот, должно быть, трясся на лошади по малоазийскому бездорожью и проклинал неугомонного Митридата, как он теперь прокликает Сент-Арно.

Направо от него синела вполне известная ему и понятная Артиллерийская бухта, у входа в которую стоял корабль "Ростислав" с флагом контр-адмирала Вукотича 1-го, а налево раскинулась сгоревшая от солнца низенькая желтая трава, из нее высунулись повсюду белые известковые камни, и вдали копошатся люди, — матросы роют траншеи...

Левая штанина адмиральских брюк с широким лампасом все стремилась закатиться к колену; от шеи гнедого эквуса сильно пахло трудовым конским потом; было жарко в парадной форме, хотелось пить...

Густорыжеволосый, приземистый, с искорками неукротимо-

легкомысленной веселости в карих глазах, шахматист и любитель кутежей, капитан 2-го ранга Будищев встретил его рапортом, что все на вверенном ему седьмом бастионе обстоит благополучно.

— Благополучно, вы сказали-с? — поздоровавшись с ним, прикрикнул Нахимов. — Как же так благополучно-с, когда все орудия просто на земле валяются, как бревна-с? — и показал рукой на несколько таких орудий.

— Эти орудия только недавно привезли, ваше превосходительство, но лафетов к ним пока нет еще... и платформ тоже... Поэтому они и лежат пока на земле...

— Вот тебе на, — нет!.. Как же так нет?.. Неприятель наступает, а платформ нет?.. И даже лафетов нет! Черт знает что-с!.. Как же так нет?

— Отчасти потому их нет, что не готовы еще, ваше превосходительство, отчасти же...

— Довольно-с!.. Одного этого довольно, что не готовы!

Но Будищев все-таки досказал:

— Отчасти же потому, что не хватает подвод.

— Да, вот видите! Подвод! — подхватил Нахимов. — Если на это не хватает подвод, то как же тогда защищать город? — Он махнул рукою вправо и влево, желая очертить хоть какое-нибудь определенное, как палуба какого-то огромного корабля, пространство из этой необъятной стихии земли.

— Придется забрать все подводы у обывателей, какие только найдутся, ваше превосходительство... А также лошадей, быков, что у кого имеется, раз город на осадном положении.

— Кто объявил город на осадном положении? — очень удивился Нахимов. — Разве был такой приказ?.. Я только сейчас от князя, — об осадном положении он ничего не говорил мне!

— Но ведь если даже не объявлен еще на осадном положении, ваше превосходительство, то вот-вот должен же быть объявлен, когда будет осаждаться противником!

Нахимов заметил усмешку, промелькнувшую в карих глазах и под короткими рыжими усами Будищева.

— Как же так, в самом деле-с, а?.. Князь из города уехал... Город на

осадном положении не объявлен... Платформ и лафетов нет!.. Подвод тоже нет! И вот извольте-с тут защищать Южную сторону!

— Неприятель ожидается с Северной стороны, ваше превосходительство, — напомнил адмиралу Будищев.

— Ну, да-с, ну, да-с... С Северной, — поэтому все средства защиты идут туда... но, однако-с, почему-то приказано защищать и Южную сторону! Предполагается, значит, окружение сразу со всех сторон!

И для большей наглядности Нахимов прочертил над головой лошади круг левой рукой. Будищев снова приложил руку к козырьку:

— У нас еще и перевязочного пункта нет, ваше превосходительство... И хотя бы доставили с какого-нибудь судна бочонок уксуса с пенной водкой для перевязок...

— Вот видите, видите-с! — удивился Нахимов. — Ожидается с часу на час атака, а ничего нет! Как же так никто не позаботился раньше?.. Черт знает что-с!..

До позднего вечера Нахимов ездил по бастионам Южной стороны и, наконец, совершенно усталый, с головой, ощутительно разбухшей, раздавшейся в висках от массы несообразностей, нелепостей, недочетов, обнаруженных им на этом необъятном пространстве желтой каменистой земли, которую нужно было ему защищать, появился на квартире генерала Моллера со смиренным вопросом:

— Какие приказания от вас, ваше превосходительство, должен я получить по обороне Южной стороны, мне порученной его светлостью? Усталый вид Нахимова, его запыленная парадная форма и такой подчеркнуто официальный тон его вопроса — все это поразило "Ветреную блондинку" до чрезвычайности.

— Вот мы сейчас, Павел Степанович, мы сейчас... присядьте, пожалуйста, очень прошу... Мы сейчас пригласим Владимира Алексеича и втроем, втроем как-нибудь... обдумаем это... Закусите что-нибудь, а? Чайку стаканчик?.. Сейчас распоряжусь, чтобы Владимир Алексеич к нам... А каков князь, а?.. Ведь бросил нас!.. В такой, можно сказать, момент критический, когда неприятель подходит, взял и увел войска!.. Значит, что же нам теперь остается? Защищаться с теми резервными батальонами, какие есть... да вот еще матросы. На них вся надежда, Павел Степанович, на ваших матросов.

Вот придет Владимир Алексеич, все обсудим... — не говорил даже, а просто как-то невразумительно лепетал старец, то и дело приглаживая пушистые белые волосы у левого плоского уха.

И, оглянувшись на дверь, от которой к уютному чайному столу, озаренному бронзовой лампой, ему удалось оттиснуть Нахимова, Моллер добавил полушепотом, чтобы не испугать своих семейных:

— А может быть, в этой вот моей квартире завтра мне и ночевать уж не придется... а будет тут ночевать уж этот... маршал Сент-Арно, а?

И в выпуклых бесцветных глазах старого генерала Нахимов увидел недоумение, страх и надежду, что он, боевой адмирал с двумя Георгиями, молодой еще по сравнению с ним человек, — всего только в начале шестого десятка, — его успокоит и ободрит.

II

Старый Моллер не знал еще, что маршалу Сент-Арно было приготовлено уже другое место для ночлега.

Когда мадам Сент-Арно узнала, что армию при ее движении к Севастополю могли ожидать всякие неприятные сюрпризы со стороны Меншикова, она отказалась от прогулки к русской крепости в карете светлейшего. Она предпочла путешествие морем вдоль берега в своей удобной каюте на корабле "Наполеон".

Правда, целый день было беспокойство во флоте, — думали, что выйдет и нападет русская эскадра, но потом все успокоились. Передавали даже такой странный слух, будто часть русских судов затоплена самими же русскими.

11/23 сентября, к вечеру, маршал Сент-Арно прислал жене изумительнейшей работы ночной столик с инкрустациями из перламутра и бронзы, взятый им, как он писал ей, "во дворце княгини Бибиковой", хотя Бибикова совсем не была княгиней и скромный дом в ее усадьбе на Каче отнюдь не был похож на дворец. Но это был последний подарок, который сделал маршал своей супруге: на другой же день, когда армия союзников подошла к Бельбекской долине, маршал уже был до того плох, что его поспешно перевезли на корабль "Наполеон".хлопоты врачей около него вернули ему небольшой запас сил для того, чтобы продиктовать приказ, которым он прощался с

армией, так как решено было отправить его в Константинополь, не столько для того, чтобы лечить, сколько для похорон в торжественной обстановке.

В своем последнем приказе Сент-Арно объявлял войскам, что, "побежденный жестокой болезнью, должен отказаться от командования" и что смотрит на это "с горестью, но мужественно..." "Воины, — говорил он, — вы пожалеете обо мне, потому что несчастье, меня поражающее, безмерно, вознаградимо ничем и, быть может, беспримерно!" Потом он в том же возвышенном стиле говорил о генерале Канробере, перечисляя его заслуги и подвиги, и заканчивал так: "В эти-то достойные руки будет вверено знамя Франции. Он будет продолжать начатое мною так удачно; он будет иметь счастье, о котором я мечтал и в котором я ему завидую, — вести вас на Севастополь".

Во французской армии, впрочем, давно уже все привыкли к тому, что Канробер носит жезл маршала если не в ранце, то в боковом кармане мундира; уход Сент-Арно ни малейшим образом не повлиял на движение армии, заранее рассчитанное так, чтобы прийти к бухтам Балаклавской и Камышевой, где можно было поставить флот и на него опереться.

Союзники шли без обозов и парков. Все, что могло затормозить их движение, все, что было приготовлено для осады Севастополя, плыло морем, погруженное на военные транспорты. Их убитые были закопаны на Алманской позиции, их раненые были отправлены на госпитальных судах в Скутарийские казармы, обращенные в лазарет; их ничто не отягощало.

Может быть, впрочем, несколько тяжелее стали ранцы солдат, в которые переселилось все, пригодное для военного обихода, что было найдено в русских ранцах, брошенных на Алме: сапоги, белье, бритвы, мыло, дратва...

Русские тяжело раненные дня два оставались совсем без помощи; одни из них умерли там, где легли в бою; другие нашли в себе силы кое-как добраться до деревень севернее Алмы, откуда казачьи разъезды перевезли их кого в Бахчисарай, кого в Симферополь; но большинство тех, кто мог выжить без помощи врачей, без питья и

пищи два дня, было подобрано на третий день санитарями союзников, врачи наскоро делали перевязки, раненых переносили на английский пароход и отправляли, как заранее решил Раглан, в Одессу, где они прежде всего попали на три недели в карантин и только после того были устроены в лазареты.

12/24 сентября фланговым маршем, одна в виду другой, мирно двигались две больших армии: армия союзников в сторону Балаклавы, армия Меншикова на пройденную уже однажды ею дорогу через долины Бельбека, Качи, Алмы к Бахчисараю.

Когда одна армия огибала Инкерманские высоты с севера, а другая с юга, расстояние между ними было не более пятнадцати верст, но ни Раглан, вполне подчинивший себе нового главнокомандующего французов, не решился на сокрушительный фланговый удар, который при удаче отдал бы в его руки город, ни Меншиков, стремившийся только к тому, чтобы Севастополь не был отрезан.

Они разошлись почти безболезненно: только часть обоза гусарского полка захвачена была английским разъездом да уничтожен один артиллерийский парк.

С библиотеки Морского собрания в сильную подзорную трубу было видно, как двигалась по узкой долине красная лента английских полков, а ближе к городу — синяя лента французских, но русских войск вблизи Севастополя уже не было видно.

Не успевшие выехать из Севастополя дамы, как флотские, так и сухопутные, были в отчаянии чрезвычайном.

— Вот так князь!.. Вот так подлец! — кричали они. — Бросил Севастополь и бежал!.. Изменник престола и отечества!.. Продал нас французам!

Десять паровых судов союзной эскадры, держась вне выстрелов береговых батарей, начали обстрел. Правда, снаряды не долетали до берега, как и снаряды с берега не долетали до пароходов, но эта совершенно напрасная трата боевых припасов наполняла город громом и пороховым дымом, воспринималась всеми как начало близкого конца, раз ушла из города армия.

Генерал Моллер кинулся сам разыскивать Корнилова затем, чтобы передать ему командование гарнизоном.

— Владимир Алексеич! Только вы один можете что-нибудь сделать при таких обстоятельствах! Распоряжайтесь, ради бога! — умолял он его.

— Распоряжайтесь так, как будто меня не существует вовсе!

— Что вы, помилуйте! — отговаривался Корнилов. — Разве будут меня слушать пехотные части?

— Как не будут, голубчик, что вы?! Как же они смеют не слушаться вас, если я сам вас прошу об этом?

— Но ведь им известен же приказ князя, что гарнизоном командуете вы, а совсем не я!

— А вы объявите... объявите по гарнизону, что вы — мой начальник штаба, вот и... И они обязаны слушаться вас! Обязаны!

Бедный Моллер был совершенно растерян.

Грохотали орудия; по улицам пополз едкий пороховой дым; метались голосившие, как на пожаре, женщины; двигались красные и синие ленты неприятельских войск по долине Черной речки...

Корнилов говорил Моллеру:

— Но ведь Павел Степанович старше меня, — он, я думаю, не захочет мне подчиняться...

— Я только что от него, голубчик Владимир Алексеич! Он будет очень рад вам подчиняться, поверьте!.. Сейчас же объявим приказ по гарнизону, и... распоряжайтесь, ради бога, как вам подскажет... подскажет ваш ум!

Хороший семьянин, каждый день писавший письма жене и детям и отправлявший их с курьером в Николаев, Корнилов несколько дней назад написал духовное завещание и запер его в шкатулку. Он приготовился к смерти. Он чувствовал себя свободным и полным энергии, несмотря на беспокоивший его ревматизм. Приказ о том, что он назначается начальником штаба гарнизона, был спешно объявлен всюду; одновременно и Севастополь объявлен был на осадном положении.

У Моллера накануне вечером было решено ввиду близости неприятеля прорубить отверстия в подводных частях кораблей, чтобы затопить их в случае, если неприятель возьмет город. Теперь, под грохот канонады, хотя и безвредной пока, матросы деятельно работали топорами в трюмах кораблей, заделывая прорубленные дыры

временными пробками и конопатя их паклей, чтобы корабли не затонули раньше времени.

Но большая часть пароходов союзников обстреливала Северную сторону. Это дало Корнилову повод думать, что готовится атака Северной стороны. Он приказал немедленно стянуть туда несколько морских батальонов, которые предназначались раньше на Южную сторону.

Нахимов подсчитал тогда свои силы: оказалось, что у него только пять резервных батальонов, с которыми нельзя было и думать удержаться против целой армии противника. Он приказал привязать к палубам кораблей просмоленные кранцы, чтобы зажечь их, если корабли будут тонуть так же медленно, как "Три святителя".

Он становился час от часу мрачней и мрачней. И в то время, как Корнилов натянул, точно струны, до последней степени напряжения все нервы своего длинного и узкого тела, появляясь всюду, где, по его мнению, требовался зоркий глаз начальника обороны, — Нахимов глухо говорил подчиненным:

— Мы должны думать прежде всего о том, чтобы флот наш не достался в руки врагов, — вот что-с!..

Он все-таки еще оставался по-прежнему только адмиралом.

Солдаты Литовского резервного батальона, занимавшие бастион Северной стороны, отнюдь не имели, на взгляд Корнилова, бравого вида, обычного для матросов, и, остановясь перед ними, он счел нужным прокричать им звонко:

— Ребята, помни: если надо будет умереть на защите этого бастиона, умрем до единого все, — но ретирады не будет! А ежели кто из вас услышит, что я скомандую ретираду, — коли меня!

И он ударил себя кулаком в тощую грудь.

Вице-адмирал Новосильский назначен был им командовать морскими батальонами; контр-адмирал Истомин с тысячью человек матросов день и ночь работали над укреплением Малахова кургана, укрепления росли всюду; орудия и зарядные ящики матросы тащили к ним на руках... Так прошел день.

Ночью была тревога; три ракеты и три орудийных выстрела подняли на ноги весь гарнизон, — думали, что наступают союзники. Союзники,

правда, были отчасти виноваты в тревоге этой тем, что заставили своим продвижением ретироваться один батальон Тарутинского полка, оставленный для защиты Инкерманского моста через Черную речку, и батальон с факелами вошел в город, везя с собой и четыре своих орудия.

Утром выяснилось, что против Северной стороны не было неприятельских сил. Нахимов, поднятый, как и все, среди ночи тревогой, решил, что под ударом будет его, Южная, сторона, что тот критический момент, когда нужно уничтожать суда, уже наступил. А так как он в то же время был и командующий эскадрой из десяти новых кораблей, то он и издал утром такой приказ по эскадре:

"Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизону. Я в необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них команды, с абордажным оружием, присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться как герой, нас соберется до трех тысяч; сборный пункт на Театральной площади. О чем по эскадре объявляю".

По приказу в первую голову был затоплен вспомогательный транспорт "Кубань", полный разных артиллерийских снарядов и дистанционных трубок к ним; затем — два брандера: "Кинбурн" и "Ингул".

Только что получив донесение об этом на своей квартире, только что успев подивиться этому распоряжению Нахимова, Корнилов увидел входящего к нему взволнованного контр-адмирала Вукотича 1-го, флаг которого был на "Ростиславе".

Остановясь у порога комнаты, совершенно официальным тоном строевого рапорта Вукотич проговорил глухо:

— Доношу вашему превосходительству, что корабль "Ростислав" затоплен.

— Ка-ак затоплен? Почему затоплен? — почти испугался Корнилов отшатнувшись.

— Согласно приказа по эскадре его превосходительства вице-адмирала Нахимова, — тем же строго строевым тоном ответил Вукотич и добавил: — Успели снести на берег только кое-какой багаж и часть провизии... Корабль быстро наполняется водой.

— Отставить! — закричал Корнилов. — Сейчас же спасти корабль!.. Я

отменяю приказ Нахимова!

В это время в комнате появился сам Нахимов.

Он не сомневался в том, что приказ дан им вовремя, он только хотел просить Корнилова, не уступит ли он ему для защиты Южной стороны морские батальоны под командою Новосильского.

Вукотич выбежал спасать свой корабль, пока еще было не совсем поздно, а два вице-адмирала, которым вверена была защита города, остались с глазу на глаз и смотрели друг на друга безмолвно.

— Павел Степанович!.. Прежде-вре-менно! — сказал, наконец, придушенно Корнилов.

— Преждевременно, вы находите?.. А какая же есть надежда? — вполголоса отозвался Нахимов.

Они не протянули друг другу руки: забыли об этом.

— Надежд особенных я и не питаю, конечно, но... одного штурма, думаю я, им будет мало, чтобы взять Севастополь... если только по вашему приказу не потопят все наши плавучие батареи!.. Кроме того, я еще надеюсь на подход подкреплений!

Нахимов молчал и, точно перед ним был не хорошо известный ему Владимир Алексеевич, а кто-то совершенно другой и незнакомый, удивленно раскрывал все шире светлые с косиной глаза.

— Прошу вас немедленно, сию минуту отменить приказ! — добавил Корнилов голосом более тихим, чем раньше: какие-то нервные спазмы сдавили гортань, и он едва протолкнул эти слова.

Нахимов тут же повернулся и вышел.

III

Если Змеиный остров — Левке древних греков — был связан с именем Ахиллеса, то Балаклавская бухта воспета была Гомером как гавань царства лестригонов, утесоподобных гигантов-людоедов, живьем сожравших очень многих спутников злополучного Одиссея, другого героя осады Трои.

Балаклава того времени была чистенький, хоть и небольшой городок. Узкий вход в бухту, между высоких скалистых берегов, выгодно мог защищаться против натисков с моря, и когда-то была здесь построена генуэзцами крепость. Крепость эту разрушили османы, однако и

развалины ее были еще очень высоки, крепки и живописны.

Балаклава была зажиточна: все жители ее были рыбаками, и все имели сады, виноградники, огороды, пчельники, молочный скот, а под боком — Севастополь, неутолимый рынок сбыта.

Но балаклавцы не знали, что тишайшая и многорыбная бухта их была облюбована Рагланом для стоянки английского флота, как не знали этого и в Севастополе. Между тем 14/26 сентября утром полчища союзников показались на дороге, ведущей к ближайшей от Балаклавы деревне — Кадык-Кою. В то же время близко ко входу в бухту подошли два парохода союзников. Они держались все-таки осторожно, они опасались, не встретят ли огня скрытых за скалами русских батарей.

Правда, батарея в Балаклаве была — вернее, батарейка — из четырех небольших мортир. Командовал ею молодой поручик Марков. И гарнизон был: рота по мирному составу — восемьдесят человек, и инвалидная команда — тридцать. Подполковник Манто был начальником гарнизона, капитан Стамати — командиром роты. Надвигался же на все эти силы авангард английской армии — три-четыре тысячи пехоты.

Вся эта колонна шла спокойно и с тем невольным подъемом, с каким предвкушается людьми конец всякого долгого путешествия. С разных мест Англии, Шотландии, Ирландии съезжались в Дувр, затем — долгий путь Атлантическим океаном до Гибралтара, потом через все Средиземное море в длину до Дарданелл; Константинополь, Варна, Змеиный остров; долгие месяцы подготовки к походу в Крым, пока отправились, высадка у двух соленых озер в Крыму; проливной дождь на этом чужом берегу в течение дня и ночи; поход до Алмы; сражение, в котором потеряли так много товарищей; и вот, наконец, пришли к тому месту, к которому так долго стремились, — предельная точка, отдых...

Уже отчетливо был виден полосатый, черно-бело-красный, как везде в тогдашней России шлагбаум, который вот-вот должен был торжественно подняться, а жители городка, столпясь по ту сторону шлагбаума, должны были стоять с хлебом-солью, как принято было у русских встречать начальство.

Так ожидалось всеми; но чуть только подошла колонна на триста шагов, раздался ружейный залп, и несколько человек упало.

Никого не было видно в стороне от шлагбаума, откуда раздался залп. Только сизые дымки здесь и там между больших камней и густых кустов.

Колонна остановилась, подалась назад, проворно убрала раненых в тыл, беглым шагом раздвинулась в стороны... Залп повторился.

Цепь фузелеров открыла пальбу по невидимому противнику, но, теряя людей, отодвинулась, только загнула фланги.

Офицеры видели по числу дымков, что противник немногочислен, но очень хорошо укрыт. И с полчаса тянулась бесполезная перестрелка, пока не зашли почти в тыл дерзким гарнизонным солдатам и инвалидам. Однако они отлично знали местность кругом: куропатками между обросшими мхом камнями и кустами шныряли они, продвигаясь к городу, отстреливаясь на ходу.

Колонна прошла шлагбаум. Казалось, что сопротивление совершенно подавлено. Но ударил орудийный выстрел с горы над городом, закричала над головами граната и разорвалась в середине колонны, переранив и убив почти два десятка стрелков.

Пришлось остановиться снова и выдвинуть свою батарею. Началась канонада. Четыре мортирки поручика Маркова по очереди посылали в красные ряды англичан гранаты, запас которых был невелик, а гарнизон медленно стягивался между домами и садами туда же, где стояли мортирки, — в эти живописные развалины крепости генуэзцев.

В это время другая колонна союзных войск, тысяч в пять, подошла к Балаклаве уже не по дороге, а с северной стороны, от горы Кефаловрисы, и тоже выставила по гребню этой горы свои батареи. Наконец, к двум пароходам-разведчикам придвинулись еще не меньше двадцати паровых судов, и большой трехпалубный винтовой корабль бортовыми залпами начал громить укрепление.

Четыре мортирки поручика Маркова стали действовать теперь и по колонне у шлагбаума, и по колонне на Кефаловрисы, и по союзной эскадре... И часа полтора палили эти четыре задорные мортирки... Но снаряды иссякли наконец, мортирки умолкли. Не слышно уж было и ружейных выстрелов...

Только тогда бросились на штурм густые цепи с горы, и на развалинах заалел английский флаг.

Подполковник Манто и капитан Стамати были ранены осколками гранат, с ними попали в плен человек шестьдесят солдат и инвалидов, а остальных увел лихой поручик Марков вместе со своими артиллеристами. В густых зарослях и в расщелинах скалистого берега скрывались они до темноты, а ночью пробрались в Севастополь. Занятие Балаклавы неожиданно обошлось англичанам человек в двести убитых и раненых, и сам Раглан захотел посмотреть на пленных.

— Только-то! — сказал он с недоумением. — Такая жалкая горсть людей сопротивлялась нам столько времени! На что же вы надеялись, безумец? Зачем вы затеяли перестрелку с целой армией? — обратился он к полковнику Манто.

— Мы только выполнили свой долг, как могли и как сумели, — ответил Манто.

В бухту бойко вбежал небольшой паровой катер, кое-где сделал промеры глубины, потом выбежал снова в море, чтобы привести на место стоянки всю эскадру.

В небольшую Балаклаву двумя сплошными потоками — от шлагбаума и с горы Кефаловрисы — влились английские полки. Еще когда только началась перестрелка, почти все жители Балаклавы переправились на яликах на другой, мало заселенный берег и бежали в сады и виноградники; но когда канонада окончилась, они вернулись, чтобы приглядеть за своим имуществом.

Однако имущество их было уже в руках других хозяев, которые простую мебель ломали на дрова, более ценную отправляли на пароходы; срывали обои и распарывали матрацы, ища, не спрятаны ли где деньги и золотые вещи; платье разбирали по рукам; стенные зеркала разбивали на куски.

Плача, умоляли хозяйки домов прекратить этот разгром, но от них требовали сначала доказательств того, что они действительно хозяйки здесь, а когда доказательства представлялись, говорили: "Пустяки. Это все — наше теперь!", а особенно голосистым указывали на свои штыки или сабли. Женщины пытались жаловаться на солдат

офицерам, но те хлопали жалобщиц по плечу и утешали насмешливо: — Стоит ли вам хлопотать и убиваться об этих жалких лачугах! Вот возьмем Севастополь — подарим вам дворцы и кареты!

Вся домашняя птица была изловлена и пошла на кухни. Молочный скот, к вечеру вернувшийся с пастбища, был убит на порции солдатам. Виноградники, сады, огороды были очищены в первый же день. Но у многих балаклавских греков было по несколько колодок пчел.

В первый день этих колодок не трогали; до них добрались на второй день, когда было уже покончено со всеми ближними виноградниками и садами. Однако балаклавские пчелы защищались не менее яростно, чем маленький балаклавский гарнизон, тем более что "дети королевы Виктории" только знали, что в ульях бывают соты с медом, но не умели вынимать эти соты. Право победителей не помогло им, когда они вздумали разламывать колодки, чтобы достать соты. Десятки, сотни тысяч рассерженных пчел напали на грабителей.

Те сначала отмахивались от них руками, как от мух, потом спрятали руки в карманы, спрятали шеи в поднятые воротники, уткнули лица в сгибы локтей, — ничто не помогало!.. Мириады пчел вились всюду; от них темнел день и жужжал воздух... Солдаты пробовали закутываться с головой в только что снятые с кроватей балаклавские одеяла, но пчелы проникали и под одеяла. Особенно пострадали от них шотландцы, голоколенные и в юбчонках. Они ожесточенно хлопали себя по ляжкам, визжа от болезненных укусов. Они вертелись как бешеные, наконец не выдержали и пустились в постыдное бегство. Многие бросались в бухту и погружались в тинистую воду до глаз, чтобы хоть в таком положении спастись от разозленных насекомых, но пчелы вились сплошной тучей и над водою у берегов бухты, а боль от укусов не проходила в воде. Многим потребовалась даже помощь врачей, до того они были искусаны и распухли.

Но когда покончено было со всем исконным балаклавским бытом, даже и с пчелами, начали ломать ограды и каменные стенки, выходящие на набережную, и рубить деревья в садах за этими стенками и оградами, чтобы набережную сделать шире. Под госпиталь отвели самый большой из домов; разметили остальные дома под квартиры начальства; расчистили от виноградных кустов поляны и на

них установили краснойверхие палатки — и начали разгружать транспорты, нагруженные еще в Варне тем, что было приготовлено для планомерной, методической осады Севастополя.

В то же время французская армия устраивалась по соседству, поближе к Севастополю, у "Прекрасной гавани" древних херсонесцев, — Камышевой бухты, куда вошел и весь французский флот.

Транспорты привезли французским войскам вполне готовые стены и крыши деревянных бараков; их оставалось только поставить и сбить гвоздями.

И в два-три дня на пустынных до того берегах появился целый густо населенный деревянный город, игриво названный французами Petit Paris{16}. В этом маленьком Париже на правильно разбитых прямых улицах запестрели даже и вывески маркитанток, парикмахеров и прочих необходимых для войск людей.

Набережную здесь сделали гораздо шире балаклавской, и скоро появились на ней выгруженные с транспортов огромные осадные орудия.

IV

Утром 16/28 сентября в Севастополь явился посланный Меншиковым лейтенант Стеценко. Он пробирался из-под Бахчисарая, где был Меншиков, расположивший там свою армию. Ночью, пешком, оставив свою лошадь в сторожевом отряде на Мекензиевых горах, в окрестностях Севастополя, Стеценко с проводником-татарином прошел по дну нескольких глубоких, заросших лесом балок, вышел к долине Черной речки, перешел через эту речку по остаткам сломанного моста, видел, правда неясно, вдали неприятельский лагерь; перед рассветом наткнулся на разъезд, который принял тоже за неприятельский.

Разъезд оказался русский, и в офицере этого разъезда Стеценко узнал лейтенанта Обезьянинова, с которым был очень дружен. Один из казаков разъезда дал ему свою лошадь, и вот, подъехав к Малахову кургану, едва поднялось солнце, Стеценко не узнал кургана: так много было сделано там всего только за пять дней тысячью работавших там матросов.

Контр-адмирал Истомин был уже на работах сам, несмотря на столь

ранний час. Но не успел Стеценко показаться вблизи него, как адмирал забросал его нетерпеливыми вопросами:

— Где князь? Где армия? Что делает? Почему бросила Севастополь на произвол союзников?

— Ваше превосходительство! Да если Севастополь за эти дни вообще укрепился так, как я это вижу здесь, то, поверьте, никакие союзники ему не страшны и без армии князя! — сказал Стеценко.

— Мы работаем, конечно, но как же так без армии князя? — испугался Истомин. — Куда ж пошла армия?

— Армия получила подкрепление в десять тысяч, — сказал Стеценко, улыбаясь этому испугу. — Кроме того, ожидается еще целая дивизия — двенадцатая, генерала Липранди.

— Хорошо, подкрепление... Это очень хорошее известие вы привезли. Но куда же потом пойдет эта подкрепленная армия?

— Она вернется в Севастополь через два дня.

— Правда? Вот это известие! Да вы просто архангел Гавриил, а не лейтенант! — Истомин обрадованно жал руку Стеценко. — Поезжайте сейчас же к адмиралу Корнилову, обрадуйте и его, как меня!

И Корнилов действительно был обрадован, так как и не ожидал увидеть Стеценко. Он тут же взял его с собою в объезд бастионов; он весело говорил на каждом бастионе, указывая на Стеценко:

— Вот адъютант его светлости приехал от него с доброй вестью! Армия возвращается к нам через два дня. Она теперь почти вдвое больше, чем была, — подошли подкрепления!.. И еще подходят!.. Пусть-ка попробуют теперь взять у нас Севастополь эти наглецы!

На радостях он, распорядившийся уже выдать работающим на укреплениях матросам по две чарки водки, обещал в этот день выдать им еще и по третьей.

Когда же Стеценко, которому приказано было князем без промедления вернуться к нему с докладом о положении в Севастополе, искал на базаре своего проводника-татарина, он показался очень подозрительным всем харчевникам и торговкам.

Его окружили. Раздались яростные крики:

— Держи его, братцы! Это же явственный переодетый французский шпион!.. Зови скорее полицию сюда!

Правда, у флотских офицеров и вообще-то не было принято заходить в такое слишком демократическое место, как базар, а тем более обращаться так к первому встречному с расспросами о каком-то татарине.

Явились будочники. Примчался даже сам полицеймейстер верхом. Стеценко едва удалось убедить полицеймейстера, что он — адъютант светлейшего, а не шпион.

В этот же день — 16 сентября — другой адъютант Меншикова, штабс-ротмистр Грейг, приехал фельдъегерем в Гатчину к царю.

В своем рабочем кабинете гатчинского дворца Николай сидел за письменным столом перед картой Финского и Рижского заливов, видимо озабоченный разгадыванием того, что именно может замышлять у русских берегов английский адмирал Непир.

За окнами лил и барабанил в стекла косой крупный дождь, отчего в кабинете царя было сумрачно; только отчетливо белел над камином большой мраморный бюст Бенкендорфа, выделяясь на фоне темно-малиновых обоев, и слабо золотела рама образа Николая-угодника над походной кроватью.

Царь был в строго застегнутом сюртуке. Его широкий затылок отражался в трюмо напротив, а прямо к вошедшему Грейгу повернулось почти шестидесятилетнее, но без единой морщины лицо с полуседыми небольшими баками и тугими, закрученными на концах в два симметричных завитка усами.

Хорошо знакомые Грейгу стального цвета выпуклые глаза смотрели на него ожидающе.

— Ваше величество, честь имею явиться, — фельдъегерем из Крымской армии прибыл, штабс-ротмистр Грейг! — проговорил Грейг отчетливо и без запинки.

— Здравствуй, Грейг! — сказал Николай, принимая от него пакет с донесением от Меншикова.

— Здравия желаю, ваше величество! — невольно громче, чем ему хотелось бы, ответил, как в строю, Грейг, глядя на лоснящуюся широкую плешь царя, разрывавшего пакет.

Едва глянув в донесение Меншикова, царь поднял глаза на Грейга:

— Так сражение на Алминской позиции состоялось восьмого

сентября?..

— Так точно, ваше величество...

— Как себя вели мои войска? Что ты видел?

Грейгу не было свойственно теряться. Офицер одного из самых блестящих гвардейских полков, он видел и слышал царя много раз. Придворный этикет тоже был ему знаком. Но он не отделался еще от запавшего в него в Севастополе глубокого взволнованного голоса адмирала Корнилова, напутствовавшего его перед поездкой: "Скажите государю все, что вы знаете о положении дел! Государь должен ясно представить все наши недостатки, все наши болезни, чтобы приказать их исправить и вылечить!.. Честь России поставлена на карту... Что, если карта эта будет бита только потому, что вовремя не подоспеют к нам подкрепления?.."

И под звуки этого взволнованного голоса адмирала, мгновенно возникшие в нем с прежней силой, он твердо ответил царю:

— Войска вашего величества держались сколько могли, но по своей малочисленности и плохому оружию не имели возможности противостоять долго противнику и оставили поле сражения... А некоторые полки даже бежали, ваше величество...

Царь бросил на стол донесение Меншикова, вскинул голову, как от удара в подбородок, и оглушительно крикнул вдруг:

— Вре-ешь, мерзавец!

Стального цвета страшные глаза выкатились, выпятилась нижняя челюсть и заметно дрожала, а длинная-длинная рука царя, сорвавшись с подлокотника вольтеровского кресла, обитого зеленым сафьяном, дотянулась до Грейга, схватила его за борт мундира, притянула несколько к себе и тут же отшвырнула его к стенке.

И Грейг, чувствуя себя побледневшим и готовым провалиться сквозь пол, услышал более тихие, сдержанные и, медленные слова:

— Мои войска могут отступать, но бежа-ать... бежать перед противником, кто бы он ни был, — никогда!.. Запомни это!

И так как глаза царя глядели после этих слов на Грейга уничтожающе презрительно, но неотрывно-ожидаяще в то же время, Грейг пробормотал вполголоса:

— Так точно, ваше величество, — войска отступили в полном

порядке... И неприятель не осмелился преследовать их, ваше величество!

Николай наклонил свою тускло блестящую голову так, что глядел теперь на посланца Меншикова исподлобья, и глядел долго, с полминуты, показавшиеся целым часом Грейгу, — наконец, сказал совершенно спокойно:

— Что же ты остановился?.. Про-дол-жай!

1936 г.